

Даугава

В НОМЕРЕ:

Новые стихи:

Л. БРИЕДИС, Н. ГУДАНЕЦ

Рассказы:

А. НЕЙБУРГА

Птицы в клетках
и чучела птиц

А. ЧЕХЛОВ

Расстрелянные звезды

Публицистика

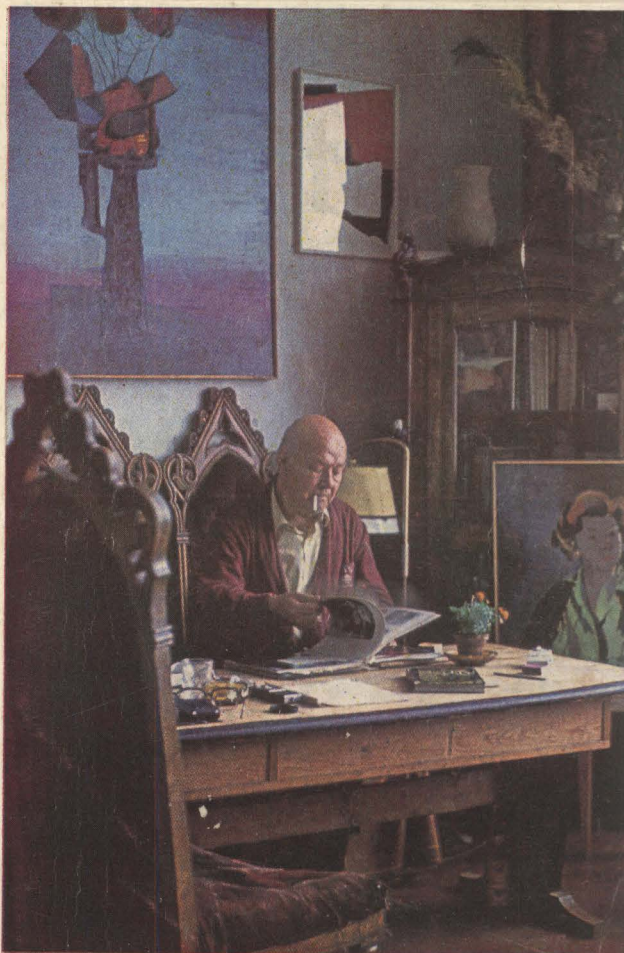
Официальный запрос

Мемория

Десять стихотворений
Георгия Адамовича

1988

1





Зимнее
утро.
ФОТО
Роланда Фогта

Даугава

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ЛАТВИЙСКОЙ ССР.
ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1977 ГОДА

I (127)

ЯНВАРЬ
1988

В НОМЕРЕ:

Проза и поэзия

БРИЕДИС Л. Реквием мотыльку. Стихи . . .	3
ГУДАНЕЦ Н. Элегии о человеке. Стихи . . .	8
НЕЙБУРГА А. Птицы в клетках и чучела птиц. Рассказ	13
Дайны. Подгоню коня к лорогу	38
ЧЕХЛОВ А. Расстрелянные звезды. Забытая битва. Рассказы	40

Публицистика

Официальный запрос

ПОЛОЦК И. 1. Сокращение: функции или личности? 2. Рабочие руки и рабочие места: нехватка или избыток? 3. «Драйкиндерсистем»!	71
---	----

Кафедра

НИКИФОРОВИЧ Г. Право быть другим . . .	79
---	----

Обзоры, размышления, рецензии

СЕРГЕЕВА Э. Роман в рассказах: о прозе Зигмунда Скуиня	83
---	----

Поэт о поэте

НИКОЛАЕВА О. Ояр	90
-----------------------------------	----

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЦК КП ЛАТВИИ.
РИГА

(см. на обороте)

В НОМЕРЕ (окончание):

Культурология	
ЛОТМАН Ю. Текст и структура аудитории . . .	93
Мастерство перевода	
РУДНЕВ В. Стих и перевод: латышская и русская поэзия	99
Memoria	
ПРИЕДИТИС А. Райнис читает Марию Башкирцеву	108
ТИМЕНЧИК Р. Десять стихотворений Георгия Адамовича	111
Искусство	
ФОГТ Р. Мастер цветовых контрастов	115
Книжная полка	
ЖУРАВСКИЙ А. Отзвуки сердец	117
Панорама	119
В корчме «У Даугавы»	
Литературное наследство	
БЛАУМАНИС Р. Может ли латыш избежать писания стихов и как этого добиться! Краткое наставление в любви	121

Рукописи не рецензируются и не возвращаются

Главный редактор

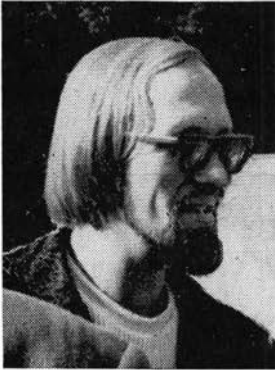
Владлен ДОЗОРЦЕВ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Имант АУЗИНЬ, Саулцерите ВИЕСЕ, Арвид ГРИГУЛИС, Роальд ДОБРОВЕНСКИЙ, Вика ДОРОШЕНКО, Маргер ЗАРИНЬ, Айвар КАЛВЕ, Борис КУНЯЕВ, Борис ПОПОВ, Мара СВИРЕ, Антон СТАНКЕВИЧ, Зигфрид ТРЕНКО, Леонид ЧЕРЕВИЧНИК (зав. отделом).

Редакция

Сергей КОЛЬЦОВ, Илан ПОЛОЦК, Вадим РУДНЕВ.



РЕКВИЕМ МОТЫЛЬКУ

Перевел Алексей КОРОЛЕВ

* * *

Темнеет.
Ухает за пущей выпь.
Возьми бутон, зарница, — и осыпь
небесный свод,
что был ствола березы
белее,
лепестками дикой розы.

.
.

Там перелетной душеньке тепла
достанет, чтоб согрела, как пчела,
ужаленная заморозком, крылья,
и чтоб глаза она закрыть смогла, —
как только станет непроглядна мгла, —
без трепета, и страха, и усилья.

* * *

Чем совершенней на губах моих
улыбка,
тем грустней и одиноче.
Во ржи
под небом, ржавым от зарниц,
стою,
а дело к осени и к ночи.
Таким покоем
полон этот час,
что ничего не предвещает даже.
... Один, как замечтавшийся солдат
минувшей битвы, я стою на страже.

БАБЬЕ ЛЕТО

Это пора, когда, голову лишь запрокинь, —
вдосталь напьешься студеной небесной росой;
всюду такая расстелется зелень и синь,
что не уйдешь никуда,
под столою босою.

Время, когда беспокойство на пользу идет,
и — заскорузлое — ласково прикосновение
вечной заботы,

Латышский поэт и переводчик Леон БРИЕДИС родился в 1949 году. Издал книги стихов «Липа — дерево, кровь ужа» (1974), «Время отбрасывать тень» (1977), «Уходящий круг» (1981), «После Иванова дня» (1983), «Сад сущности» (1987). Выпустил несколько сборников стихов для детей. Переводил произведения Петрарки, Аргези, Пессоа, Хименеса и других поэтов. В 1986 году вышла книга стихов Л. Бриедиса в переводе на русский язык «После Иванова дня».

когда не страшит ни исход
битвы зарниц, ни полуночное наваждение.

Это пора, когда все на ладони,
и свет
сердца, открытого настежь,
особенно ясен.
Черные дни мне от белых отсеивать нет
надобности —
каждый об эту пору прекрасен.

ЖАСМИН ОСЕНЬЮ

Нет-нет, и нарочно
не смог бы я выдумать это —
жасмин холостяцкий на маковке бабьего лета
цветет
(судный день на дворе)
как ни в чем не бывало!
Ох, сколько себя ни растрачивай,
боженьке — мало.

Не благоуханью,
а духа завидую силе,
какой обладают глупцы, простаки, простофили
не только на время кропания стихотворенья,
как я,
а на все время жизни и время цветенья,
как этот последний жасмин в ореоле расцвета —
гороховый шут,
еретик плутоватого лета.

* * *

Уж если смерть я упразднить не в силах,
сорву хотя бы полог туч постылых,
ведь (хочешь — смейся, хочешь — брови хмурь)
тебе к лицу небесная лазурь . . .
Хотя бы наваждение рассею,
что тяжестью легло на сердце всею,
уж если не смогу тебя от бед
избавить, горести свести на нет . . .
Коль, вкалывая до седьмого поту,
порядочнее мир ни на йоту
не сделаю,
сумею, может быть,
хотя бы боль твою заговорить.

ОБЛАКА

Лапотники-облака
летнего солнцеворота
превратили день
во что-то
вроде съезда или слета
ходовок издалека.
Доверху набив решета
запахами луговых
трав,
как пошехонец их
я развешу где попало . . .

До того,
насколько стало
больше в бороде седых
прядей,
мне и дела мало!
Если бо г, как говорится,
не о с т а в и т в дураках,
д а с т обещанному сбывться,
у меня журавль в руках
побывает,
а синица
пусть порхает в облаках.

ТАК НЕЖНО

... человек так нежно от мира отвы-
кает, как, вырастая, отвыкает от
груди матери ребенок.

Р. М. Рильке

... так нежно
отвыкаем в мире этом
мы от любви —
от бездны,
в глубине
всех вожелений наших
зыбким светом
мерцавшей,
от заката, что извне
пронизывал те дебри
и чащобы,
что мы и есмь,
где кровь обоих нас,
как гончая, преследовала,
чтобы
в объятия друг другу бросить
раз
и навсегда, —
неистовство земное
отринув,
погружаемся во мрак,
как до Любви
уже любивших двое,
так кротко,
так согласно,
нежно так...

ПО СЕЙ ДЕНЬ

Слышны не звуки — шорохи одни,
не мыши шебуршат в доме, а жизни дни.

С утра наполненные солнцем всклянь,
к полудню черпаки пусты, в какой ни глянть.

Трещит дровами мокрыми очаг,
до сердцевины не доищется никак.

Не ешь — расхлебываешь кашу лишь.
В трухлявом времени отверстия долбишь,

свистульку делаешь, манок для грез,
отмахиваются, не восприняв всерьез.

Пока еще небеспросветна грусть,
но раз сгущается она, сгустится пусть,
как туча, очистительной грозой
чреватая, и град на дом обрушит мой,
в котором, слава богу, искони
не мыши шмыгали, а только жизни дни.

РЕКВИЕМ МОТЫЛКУ

Да будет пухом воздух, мотылек,
тебе... В моей когда бы воле было,
полжизни не скупясь отдать бы мог.
Но даже дня тебе с лихвой хватило,
чтоб лето всколыхнуть, путившись в пляс,
восторженными крыльями своими!
И — слава богу... В равной мере нас
он осчастливил, сотворив живыми
на время жизни. Было бы в моей
то воле, я бы не ершился слишком,
но взял себе еще один из дней...
Хотя хватает и своих с излишком!

* * *

Ты о чем, воробушек, о чем?
Золотым промчалось лето сном,
ни стрекоз не слышно, ни цикад,
безуханно травы шелестят.

Сожалеть нам впору лишь о том,
что откладывали на потом,
до конца так и не доведя
ни — когда могли, ни — погода...

А ведь было сил не занимать.
Чему быть, того не миновать, —
до другого лета отложить...
Миновало что — тому не быть.

СУМАСШЕДШИЙ ЖАСМИН

Неба край
и прахом сон пошедший —
в белых сплошь, в мерцающих накрапах.
Под окном какой-то сумасшедший
терпкий свой навязывает запах.

Сам себя пытается бесстыдно
он всучить во что бы то ни стало.
От меня чего-то хочет, видно,
в душу мне вонзаясь,
точно жало.

Я ли должен возмещать рассвету
все убытки,
если их причина —
выбежавшего навстречу лету
майского безумие жасмина?

* * *

Как в траве за ящеркою рыжей,
я бегу вдогонку за тобою.
Даль, не став ни на иоту ближе,
предо мной возводит стену зноя.
Ветром с ног меня едва не сбило,
за волосы облако цепляло,
сердце кру́гом шло, как мотовило,
и улыбку на лице спрядало,
наша кровь играла с нами — было
вдосталь жара в той игре и пыла.

ПОЛЫННЫЙ ВОЗДУХ

Нет, не ничком, а навзничь в пыль упасть,
полынным духом надышаться всласть,
почувствовать на ощупь приближенье
грозы — и замереть в оцепененье.

Притихнуть и дыханье затаить,
как чибис и как шмель.
Со всеми быть
созданиями заодно живыми,
превозмогая жуть совместно с ними.

И сердце будет биться, трепеща
от счастья, с их сердцами сообща
и каждое воспринимать мгновенье,
как материнских губ
прикосновенье.

ЛЕТНИЙ ЯМБ

Куда бы ни смотрел, отовсюду лето
навстречу,
Мне навстречу с цветущей ненавистью
Оно улыбается . . .

Я. Порук

Бесконечная, жгучая, злая
Тоска по тому, что есть.

Х. Р. Хименес

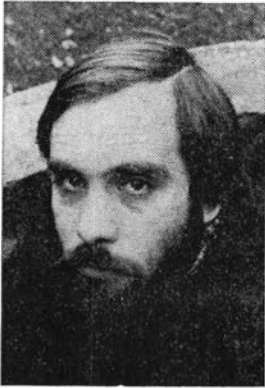
Небесная невыносима синь,
но не она терзает нас жестоко,
а кровь, глубокая, как подоплека,
и знойная, как солнцепек пустынь, —

слепит повсюду, взгляд куда ни кинь,
да так, что в ропоте после того, как
сдадимся ей на милость,
мало прока . . .
Колышется покорная полынь..

От жажды глина трескается. Мимо
во мглу сполохи шмыгают из мглы.
Все маки разом вспыхнули кругом —

палимы этим пламенем без дыма
течем греховны, счастливы и злы
и обессилены, один в другом . . .

. . . и неба, неба синь невыносима!



ЭЛЕГИИ О ЧЕЛОВЕКЕ

ЭЛЕГИЯ I

Человек, проснувшийся ночью, надевает халат
на вате,
шарит в поисках шлепанцев под кроватью,
бредет на кухню, распугивая тараканов,
ищет чистый стакан и набирает воды из крана.
Тараканы боятся ночного человека,
между тем человеку бояться некого.
Человек тараканам кажется грозным богом,
который заносит карающую ногу.
Божья подошва обрушивается с потолка!
Это — последнее, что видит таракан.
Человек, внезапно проснувшийся ночью,
еще не освоился в собственной оболочке.
Его движения вялы и ум створожен.
Одновременно обмякший и тревожный,
человек допивает воду из стакана,
вокруг него мечутся тараканы,
и кадык его ходит, как поршень.
Человек любит воду. Тараканы не любят солнца,
но им нипочем свинец, дихлофос и стронций.
Орда тараканов несметна. Их можно давить
веками.

В совокупности неуязвимы тараканы.
Человек, ни с того ни с сего проснувшийся
ночью,

мается горчайшим из одиночеств.
Ночью нету автобусов, спешки, давки,
телевизоров, начальников, прилавков,
днем имеется жизнь, а ночью — что делать
наедине со своими душой и телом,
страхами, вожделеннями, судьбою,
наедине и лицом к лицу с собою?
Человек ощущает что-то, и это что-то
удушливей быта и тягостнее работы.
Он чувствует, что над ним нависла ступня.
Он молится: «Господи боже! Прости меня.
Я жил как все. В обращении был удобен.
Ходил на службу. Чистил зубы и обувь.
Не преступал предписаний, законов, правил.
Господи мой! Зачем ты меня оставил?
Почему нет хотя бы горя или покоя?
Что такое человек, что он такое? . . .»
Человек — это башня, загадочная, как рок
с жуткой ногой, застилающей потолок!

Русский поэт и прозаик Николай ГУДАНЕЦ родился в 1957 году в Риге. Публиковался в журналах «Дружба народов», «Даугава», «Роднин». Издал два сборника стихов: «Автобиография» (1980), «Голубиная книга» (1986) и сборник рассказов «Субботние поцелуи» (1984). В журналах «Наука и техника», издании АПН «Спутник», в ноллентивных сборниках «Платиновый обруч» (1982), «Хрустальная медуза» (1985) публиковались фантастические рассказы Н. Гуданца. Переводил стихи латышских поэтов Карлиса Крузы, Эйжена Вевериса, Яннса Петерса, Клава Элсберга, Инесе Зандере.

Человек, бредущий назад к постели,
думает о том, что на самом деле
можно проспать всю жизнь и проснуться
однажды
от слез, от жути, от непонятной жажды.
В животе у него глухо плещет ночная вода,
вязкая, как слово «никогда».

ЭЛЕГИЯ II

Человек, закусивший сердце, проходит через
подворотню, словно китовую челюсть,
и восходит по каменной гортани
дряхлого коммунального Левиафана
воздушнее, чем отрывка, мрачней Ионы,
непреклонной дорической колонны.
Этот дом накрывается за год на два промилле.
В этом доме рожали, дрались, порой любили.
Человек достает ключи. Он уже уверен,
что ступит в бездонную шахту за собственной
дверью.

Он измучает женщину, которую любит,
истерзает ей душу и молодость погубит,
бросит ее с трехмесячным младенцем
и еще страшнее закусит сердце.
Человек лютует похлеще Сарданапала,
в его жилах течет не кровь, а сгустки напалма,
у него готовы ответы на все вопросы,
он два года не платил профсоюзные взносы.
У него дурно пахнет изо рта.
Закусивший сердце, не смыслящий ни черта,
человек переходит подспудно в иную сферу,
где Иовов напихано, словно сардин
в консервах,
он здороваётся и безразлично ищет,
где приткнуться ему, чтоб язвы скрести
на гноище.

Если б заранее знать, примеряя муку,
словно в скафандр погружая то ногу, то руку,
что это — плащ, пропитанный кровью Несса,
прирос, и не сбросить, и никуда не деться.
Если бы можно — насквозь увидеть судьбу,
как авиатор видит печную трубу!
Ребенок растёт на туме. Женщина плачет.
Человек, закусивший сердце, не может иначе.

ЭЛЕГИЯ III

Человек, уснувший над пустой тарелкой
общепита,
охмелел от шницеля и молока,
Сон его прочнее конского копыта
и внезапней стука молотка.
Он уже ничей не муж, не сват, не брат,
он всего лишь человек, уснувший над...
Сон похож на сад со множеством оград,
где бессонные прожекторы горят,
озаряя вход, который стережет
круглосуточная вахта у ворот.
Этот сад похож на сад и только сад,
где цветут на воле тысячи усад,

и попавший ненароком в этот сад
никогда не возвращается назад.
У бесчисленных поколений на виду
кто-то молится в оливковом саду.
Звезды, ветер, каменная гора,
шелестящее кипенье серебра.
Горький шепот умолкает, и в ответ
в тишине бегут, как в озере, круги,
но следов не оставляют на траве
гефсиманские тяжелые шаги.
Расцветает ореол над головой,
а хитон струится плавно, как река,
и не ведает, что делает, конвой
с трехлинейками в растерянных руках.

ЭЛЕГИЯ IV

Человек, запродавший тело в анатомичку,
свободен от морали и от приличий.
Запродавший тело свободен от предрассудков,
галстуков, носков и дезодорантов.
Что найдут постфактум в его желудке,
для науки останется непонятым.
Можно жить без мебели и пирожных.
Практика доказывает, что можно.
То, что будут прилежно кромать студенты,
имеет свои счастливые моменты
в виде апельсинового лосьона
(два флакона — семьдесят шесть копеек).
Для него мысли о женщине — словно
для меня раздумия об Америке:
вроде и есть на свете, но тем не менее
не имеет личного отношения.
То, что будет лежать по спиртовым банкам
до трубного гласа в долине Иосафата,
при ходьбе покачивается, как бакен,
и в подворотню шмыгает воровато.
Все холоднее житье в дровяном подвале.
Этой ночью он замерзнет, а завтра —
согласно пометке в паспорте — будет отправлен
в статисты анатомического театра.
Человек, запродавший тело в анатомичку,
поступил опрометчиво и непрактично:
Порция человеческого утиля
ценится ниже стеклянного, ибо тело
стоит ровно столько пустых бутылок,
сколько удастся собрать за неделю.
Запродавший тело не думает об этом.

ЭЛЕГИЯ V

Алексею Парцикову

Человек, раскопавший Трою, нашел не Трою.
Впрочем, его результат устроил:
он стал богаче вдвое, а может, втрое.
Пока что нет результата, но есть лопата,
нет ни славы, ни почестей, ни золотого клада.
Человек опирается на лопату, слюнит сигарку.
Он доверяет нюху, а не Плутарху.
В глубине под холмом притаилась Троя.
Он ее обязательно отроет.

Под холмом Гиссарлык лежало стопкой
множество городов с названием Троя.
Вперемешку — цари, погонщики мулов, герои.
Отставной коммерсант приступил к раскопкам.
Но кто б ни корпел с лопатою над бугром,
до истины докапываются пером.
Я утверждаю: Трою сгубил не случай,
не забавы царского сына с ахейской сучкой.
Происки древнегреческой военщины
имели место вовсе не из-за женщины.
Чтобы понять, отчего погибла Троя,
надо уяснить две простые вещи:
что есть война и как человек устроен.
Сначала я объясню, что такое война.
Есть две группы мужчин и крепостная стена.
Это является и поводом, и причиной.
Похожие на самовары, сверкающие мужчины
сходятся у крепостной стены, которая
безусловно войдет в поэзию и в историю.
В руках у мужчин — заостренные предметы.
С головы до пят мужчины одеты
в бычью кожу, олово, бронзу, медь.
Из них доживет до заката едва ли треть.
Над полем клубятся хрипы, вой, матерщина.
Разделившись попарно, сопящие мужчины
друг у друга на теле делают надрезы
при помощи заточенного железа.
Это и есть их призвание и работа.
В ход идут булыжники, зубы, гвардейские
минометы,
сабли, грабли, дубины и пластиковые мины.
Уцелевшие после этого мужчины
стоят по горло в грязи кровавой.
Все это называется «честь» и «слава».
Им на грудь привинчивают ордена.
Все это называется «война».
Теперь опишу человека. Его устройство
имеет забавное амбивалентное свойство:
дух человека проходит через века,
тело приходит в негодность от пустяка.
Человеческое тело устроено так:
спереди руки, чтобы бить и хватать,
снизу ноги, могучие рычаги.
Как правило, у человека две ноги.
Внутри у него — агрегаты и шарниры.
Но стоит добавить к его естественным дырам
хотя бы одну — затихают почти мгновенно
процессы окисления и обмена.
Испорченное тело выносят вперед ногами,
потом зарывают в землю или сжигают.
Это среди людей называется «гибель».
Она порождает славу, приносит прибыль.
Представьте, как возрастает эффект, когда
погибают целые города!
Есть много способов, как уничтожить город:
можно его осадить и обречь на голод,
можно вырезать в городе все население —
без разбору, женщин, детей, стариков,
некому станет ремонтировать стены,
и сам по себе разрушится постепенно
город всего за несколько веков.

Можно спалить дотла и опять построить.
Так росла из эпохи в эпоху Троя,
на костях поднимаясь к небу, пока сама
не стала подошвой лысого холма.
Время — это чудовищная лавина,
чья броуновская бешеная кутерьма
в конце концов принимает форму холма.
Холм — это ноль, закопанный до половины.
Троя — пример того, как может дойти Земля
до естественного завершения. До ноля.
... Разгреби облака над увядшим храмом —
ты увидишь воздушную пропасть, яму,
по фактуре похожую на сыр
благодаря обилию мелких дыр.
Там намешаны в виде густого газа
руины держав, невидимые для глаза.
Словно мошки, меж облаков роятся
саркофаги владык и осколки наций.
Их двойников под ногами у нас откопает
археолог с кисточкой и лопатой.
Земля содержит кроме сухого праха
судороги сердец, изверженья паха,
браслеты и берцовые кости женщин.
Разгреби облака — увидишь не меньше
ненужных вещей, страданий, безумств, обломков,
презрительного забвения потомков.
В облаках, в атмосферном культурном слое
крышами книзу плавает древняя Троя —
призрак, вернее дымная эманация
Трои VII А, раскопанной американцем.
Над головой то же самое, что под ногами.
Снизу камень, сверху — идея камня.
Господи не приведи вам дожить до часа,
когда они воедино соединятся
и возникнет критическая масса,
чреватая всеобщей цепной реакцией!
Небо как власяница. Концентрация CO_2
достигает степени, когда
меняется климат, раскаляется воздух
и ледник ползет к экватору, как бульдозер.
Горе тебе, Вавилон, Урюпинск, Оттава!
Небо задымлено. Реки полны отравы.
Горе гордыне людской, расщепившей атом,
горе питающим сосцами и «Детолактом»,
во чреве имеющим скрытую трисомию!
Горе вам, города морфинистов и содомитов,
города, воздвигнутые на слоеной гнили,
на руинах, крови, головешках, чумных могилах,
города, упрященные под сопки
без всякой надежды на будущие раскопки!
Что нашел человек, раскопавший Трою?
Первое — это шумную славу, второе —
неожиданно для себя человек открыл
молву, завистников, гогот ученых светил.
И то, и другое, и третье — все преходяще.
Троя II окажется ненастоящей.
Время рассудит, насколько прав и велик
человек, вонзивший лопату в холм Гиссарлык!

1983—1984



ПТИЦЫ В КЛЕТКАХ И ЧУЧЕЛА ПТИЦ

Перевела Виолетта СЕМЕНОВА

Рассказ

Андре НЕЙБУРГА по образованию дизайнер. В прошлом году окончила Государственную академию художеств Латвийской ССР им. Теодора Зальнална, после чего работала художником в журнале «Авотс». Сейчас она — референт-консультант Союза писателей Латвийской ССР. Впервые Андре заявила о себе нан о прозаике в 1985 году, когда на семинаре молодых авторов им. М. Кемпе обсуждались ее произведения. Вскоре после этого она дебютировала с рассказом в еженедельнике «Литература ун мансла», на страницах которого увидели свет и другие ее работы. На русском языке печаталась в журнале «Роднин».

Капитальный ремонт в доме № 5 на улице Н. сделали неожиданно быстро и хорошо. Большие коммунальные квартиры перестроили в отдельные квартирки со всеми удобствами, и одну из них получили мы. Комнаты, кухня и все остальные помещения были светлыми и чистыми — смотреть приятно! — планировка интересная и удобная, ничто не напоминало о прежних лабиринтах и их обитателях. Только когда утихла первая лихорадка устройства на новом месте и появилось время заглянуть в подвал, я, выгребая оттуда всякий хлам, оставленный столярами и малярами, наткнулась на какой-то шкафчик. Это была так называемая тумбочка — скромный предмет мебели пятидесятих годов. Побуждаемая чисто женским любопытством, я открыла дверцу и заглянула внутрь, хотя и не надеялась увидеть там ничего, кроме запыленной консервной банки или пустой коробочки из-под косметики. Открыла дверцу — и вздрогнула. На меня смотрел маленький круглый птичий глаз, смотрел будто с упреком и одновременно враждебно. Стыдно признаться, но я тут же в страхе захлопнула дверцу, и сердце у меня в груди словно

перекувырнулось. Однако пришла я в себя довольно быстро. Я нормальная, деловая современная женщина, не верю ни в бога, ни в черта, тем более в привидения, обитающие в старых тумбочках в образе птиц. Посмеявшись сама над собой, опять открыла дверцы — посмотреть, что же меня так напугало. Это оказалось старое, траченное молью чучело попугая, яркие перья его давно поблекли, да и глаза, надо сказать, сделаны были довольно неумело. Ни минуты не колеблясь, я швырнула страшилище в кучу мусора и только тогда заметила в глубине шкафчика тетрадь. Внимание привлекла обложка — из чистой кожи, несомненно довоенного происхождения. Не слишком-то вглядываясь, я перелистала тетрадь; до половины она была исписана размашистым неровным почерком. Из тетради выпала фотография — худощавая симпатичная женщина где-то в деревне, возле поросячьего корыта. Фотографию я тоже выбросила, а тетрадь решила сохранить, чтобы полистать как-нибудь на досуге.

Вечером, уложив детей и мужа спать, взялась за свою нахodka. Прежде всего, к великому своему разочарованию, я пришла к выводу, что записи велись в наши дни (насколько мне известно, до войны шариковыми ручками не пользовались). Рассердилась на себя, что не заметила этого еще в подвале, и засомневалась, стоит ли вообще читать. Однако решила все-таки просмотреть.

Содержание тетради меня удивило. Ее можно было бы назвать дневником, но там было всего три записи, и те без дат. Очевидно, женщина, которая все это написала, бралась за перо лишь в случаях особенно сильного всплеска чувств, хотя и пыталась не поддаваться им и анализировать ситуацию как можно объективнее. И еще — для дневника эти записи были слишком олитературенными, по крайней мере мне так казалось. Может, она хотела отдать их на чей-то суд? Или же у нее вообще была склонность к творчеству? Возможно, найденные мной заметки представляют собой первую пробу пера молодой писательницы и просто «высосаны из пальца», а на самом деле никогда ничего подобного не происходило?

Как знать! Хотя меня и раздражает такая усложненность и запутанность жизни, но читать было все-таки интересно, поэтому и предлагаю вам эти записи в нетронutom виде, слово в слово, как в коричневой тетради.

* * *

Мую Мать (которая в действительности вовсе не моя мама, но об этом я, возможно, расскажу позже, если вообще расскажу) многие за глаза называют Мадам. Меня бесит и это прозвище, и его причина — никто никогда не видел Мать без шляпы. Хотя мы с ней живем в коммунальной квартире. Моя

Мать даже у плиты стоит в шляпе (в тех редких случаях, когда она занимается хозяйством), в шляпе она отправляется в ванную и выходит из нее тоже в шляпе. Шляп у нее десятки. Я привыкла и не удивляюсь, когда вижу ее опять в новой. Эти бесчисленные шляпы когда-то не успели реализовать в магазине ее отца, хорошо упакованные, они пролежали в подвале нашего дома долгие годы, а с появлением Матери были извлечены на свет божий. Все они — по моде последнего предвоенного года, по моде юности Матери, по моде того времени, которое Мать так упорно не желает забывать. Теперь Мать хранит их в доисторическом шкафу, и он у нее всегда заперт. В детстве я верила, что шкаф — волшебный и шляпы рождаются там по ее велению. Одно время я даже думала, что, открыв его дверь, можно попасть в чудесный и немножко пугающий мир. В мир, где вся мебель похожа на этот шкаф, в мир, наполненный звоном хрустальных подвесок, тусклым серебром, таинственным и многообещающим запахом плесени, старыми выцветшими фотографиями — словом, всеми теми атрибутами, малая толика которых была и в нашей комнате, большой и мрачной, с крашеным, сильно потертым паркетом, с громадным окном — зимой оно дышало ледяным холодом и излучало стылый неуютный свет — и с камином, я никогда не видела его горящим, но в нем вечно было полно окурков, ими пропахла вся наша комната. И даже моя одежда.

Эгона я бросила только потому, что он курил. Хотя нет, то был лишь формальный повод; Дайнис тоже курит, но я с этим мирюсь. Матери слишком нравилось кататься по городу на служебной машине Эгона. Перед выездами она выбирала шляпку особенно тщательно.

Я в их поездках никогда не участвовала. Оставалась дома и, сидя на нашем широком подоконнике, ждала, когда они появятся. И вспоминала свое детство. Ах, этот подоконник, холодное и неуютное прибежище дней моего детства, где, спрятавшись за занавеску, я могла торчать часами, пока не застынут пальцы рук и ног и не потечет из носа. Я неустанно наблюдала за жизнью улицы: торопливые прохожие, женщины с полными сетками, мужчины с портфелями и без, непрерывный поток автомобилей, толчея у дверей магазинов. Уже тогда, еще ничего не понимая в жизни, я догадывалась все-таки, что они, там, внизу, живут совсем иначе. Я еще не спрашивала себя, лучше ли.

Да, но шкаф... шкаф волнует меня по сю пору, хотя я и не желаю признаваться себе в этом. Мне не хотелось бы открыть его после смерти Матери. Вообще маловероятно, что Мать, умирая, доверит кому-нибудь ключи от него. Как маловероятно и то, что Мать может когда-нибудь умереть. Она не стареет. Она вечная — моя Мать — так мне кажется. Вечная в будущем.

Моей Матери 62 года. Мне сегодня исполнилось 29.

Мы обе обманулись друг в друге.

Мать привезла меня из Сибири и назвала Катриной. Это было в 1956 году. Я даже не знаю, как меня звали до того. Может быть, Катя?

Я совсем не похожа на нее, на свою Мать (вполне естественно, если учесть, что я — не ее дочь).

Итак, Мать: очень худая, с тронутыми сединами, но так и не поседевшими до конца волосами, какие-то пряди еще сохраняют свой природный темно-каштановый цвет, с довольно длинным и тонким, но изящно вылепленным носом и резко очерченным ртом. И синими, порой почти черными, суровыми глазами. Ее глаза улыбаются очень редко, они словно глубокое темное озеро, затянутое льдом. Такой я помню ее с детства, такой вижу теперь. Сутулую, всегда одетую в черное, с узкими жилистыми кистями, пальцы украшает одно-единственное кольцо — оправленный в золото коралл необычного темно-красного оттенка.

Я сказала — Мать всегда одета в черное. Сами понимаете — это не темные, простые ткани, которые носят деревенские бабы. Нет, Мать одевается очень хорошо, можно даже сказать — изысканно. От нее я научилась различать оттенки черного цвета, видеть игру фактуры на гладкой блестящей поверхности. И от нее я узнала, что темное золото придает величественность черной ткани.

Рядом с Матерью я выгляжу попросту заурядной. Ни утренняя гимнастика, которую Мать заставляла меня делать, ни запрещение есть по вечерам, ни наставления в пластике, в искусстве двигаться не сделали мои кости более узкими и менее угловатыми, мои движения — грациозными, а походку — величавой. Если Мать ходит по комнате тихо как тень, то я перемещаюсь по ней, как по враждебной пересеченной местности, постоянно спотыкаюсь, стучаюсь об острые углы мебели, что-то сбрасываю и разбиваю. Мои ноги не желают двигаться в согласии с моим телом, к тому же я никогда не знаю, что делать с руками. Волосы у меня белесые, бесцветные, почти бесцветные брови, светлые и, как мне кажется, невыразительные глаза, слишком маленький нос на широком лице и несоразмерно тяжелый подбородок. Вот такая я. Мать рядом с собой я вижу как черную стрелу рядом с расплывчатым пятном тумана.

Ха, Мать не всегда была такой. Было и другое время, о котором теперь свидетельствуют только две старые фотографии. Пожелтевшие от времени, одна с оторванным уголком, вторая когда-то была согнута пополам, обе поблекшие, как воспоминания старого человека, — хотя я видела их всего раза два, могу, закрыв глаза, различить даже самую маленькую царапинку на них. На одной фотографии — Мать в том далеком сибирском селе, названия которого она мне не открывает. Она стоит возле загородки для свиней, в резиновых сапогах, в короткой

простенькой юбке и ватнике. На голове платочек, завязанный на затылке. В загородке — ее поросенок; это около пятьдесят четвертого года, тогда она жила вполне сносно — работала уборщицей в клубе и «частным образом» откармливала свинью. В левом углу фотографии виден высокий, крепкий мужчина, тоже в резиновых сапогах и ватнике, на голове у него кепка. Мужчину однажды вырезали из фотографии, а потом опять вернули на место, приклеив самым тщательным образом. Мать смотрит на него и, улыбаясь, что-то говорит, мужчина отвечает Матери улыбкой. Она выглядит счастливой. Короткое сибирское лето, у ног мужчины стоит корзина, доверху наполненная ягодами.

Вторая фотография сделана на Рижском вокзале. Пятьдесят шестой год. Мать только что приехала. На ней те же ватник и юбка, черный платок повязан по-русски, в одной руке небольшой чемоданчик и бидон, другой рукой она прижимает к груди серый сверток. Это я. Мать не улыбается, и потому здесь я узнаю ее легче. Из-за плохого качества снимка невозможно разглядеть, какое лицо у Матери. Но в воображении я вижу ясней ясного — оно решительное. А еще недоверчивое. И бесконечно упрямое. Икры ног — от края подола до сапог с обрезанными голенищами — тонкие как спички, но я чувствую, как крепко она стоит. Я бы даже сказала — упорно. Упорство. Ее упорство безгранично.

Хотя именно эти качества — упорство, решимость и упрямство — сделали жизнь Матери такой нелепой и бессмысленной, я не могу не уважать ее за них. Как уважают противника.

Наша жизнь, начиная с самого моего отрочества, ах нет, с еще более ранних времен, — непрерывная борьба. К тому же борьба нечестная — борьба на ее территории. Мне некуда уйти. Или же (хотя бы самой себе надо признаться!)... нет сил уйти.

Это ее комната. И это ее вещи вокруг. Когда-то, лет семь назад, я попробовала развязать войну между вещами. В то время я уже работала. Бросила университет, где училась на факультете иностранных языков, и устроилась работать — надеялась таким образом обрести свободу. Мне опротивели регулярные проверки матрикула, опротивела строго определенная сумма денег на карманные расходы — пять рублей в неделю. По рублю на каждый день, исключая субботу и воскресенье, когда, по мнению Матери, деньги мне были не нужны. Между прочим, карманные деньги выдавались мне из моей стипендии, остаток уходил на «общие хозяйственные нужды». А может быть, на утренний кофе для Матери? (Ах, я опять делаюсь злой, хотя вовсе не хочу такой быть!)

Итак, я бросила университет. Мать по этому поводу позволила себе сказать только одну фразу: «Ты еще пожалеешь!» В голосе не было ни упрека, ни огорчения, ни злорадства. Она констатировала факт.

Я устроилась работать машинисткой. У меня появились свои деньги. И я как хмельная принялась покупать вещи — столько вещей, сколько позволяла моя скудная зарплата. Представьте, я не покупала себе новую одежду, не откладывала на концерты, театр, не ходила даже в кино.

Я покупала вещи.

Хаотично. Отчаянно. Современные вещицы. Пластмассу. Стекло. Пластмассу. В дни полочки я приходила домой, нагруженная пакетами как верблюд. И когда я разворачивала все эти свертки и сверточки и выгружала свои покупки на стол, то какой-то миг чувствовала себя победительницей. То были яркие вещицы, всегда только яркие. Ничего блеклого я не покупала. Поверьте, вовсе не так легко было разыскать в наших магазинах это многоцветье. Нагроможденные на столе, мои вещицы превращались в веселый, пестрый и сильный мирок, но стоило мне разместить их по всей комнате, и я в очередной раз убеждалась, как поразительно быстро теряют они свой яркий цвет, свой кричащий вид. Темный дуб мебели, тяжелый шелк портьер, старомодные бронза и серебро словно бы всасывали в себя мой дешевый хаос, всасывали и уничтожали, как белые кровяные тельца уничтожают попавший в кровь зловредный микроб. Какая громадная сила присуща старинным вещам, невероятная сила! Эта сила кроется не в ценности вещей, не в благородстве материала, не в тонкости исполнения. Суть ее трудно уловима и потому — неуничтожима. Прикосновения рук давно ушедших людей. Воспоминания. Долговечность. Эти вещи сделаны не на один день. К ним не относятся капризы моды. Они не навязывают свое присутствие и не кричат криком, чтобы их купили. Мою пластмассовую чашечку завтра заменит другая такая же пластмассовая чашечка, только более современная. И ни у кого рука не дрогнет выбросить старую. Ну да, для того она и предназначена. Этакая дешевая пластмассовая чашечка. Однодневка. И — не смейтесь, пожалуйста! — чашечка это понимает.

Да-да. У моих вещиц не было самоуважения. А у вещей Матери — в избытке. Странное понятие — самоуважение вещей. Я выдумала его сама, и мне оно нравится.

Но в то время я не хотела видеть вокруг себя эти старые вещи, эту рухлядь, как я про себя обзывала их. Они мешали мне дышать. Из-за них я ощущала нечто вроде комплекса неполноценности. К тому же они были для меня символом всего, что связано с Матерью, с ее довоенной жизнью, с тем временем, дух которого Мать так упорно старалась сохранить в нашей комнате и в себе.

У меня не было ни желания, ни умения ужиться с ее вещами. У меня не было ничего, что я могла бы противопоставить им. Теперь, возможно, есть. Тогда же — только отчаяние.

Мою покупательскую лихорадку Мать словно бы не замечала. Она сидела за письменным столом прямая, насколько позво-

ляла ее сутулая спина, читала или же что-то писала. И не обращала внимания на мои свертки и шуршание бумаги в комнате. И только улыбалась, если я демонстративно ставила перед ней на письменный стол какую-нибудь из своих ярких безделушек. Нет, никогда она не пыталась переставить их на другое место. Зачем? Через несколько дней я делала это сама.

Мои вещи выглядели просто смешно.

Моя «покупательская лихорадка» продолжалась месяца два, а потом умерла естественной смертью.

Однажды я собрала все, что накупила, и когда Матери не было дома, вынесла в подвал. Вынести пришлось много. Комната стала такой, как прежде. В подвале, над кучкой своих вещей, я впервые выплакалась по-настоящему. Я потерпела поражение. Я винила своих рядовых в незначительности и дешевизне, однако в глубине души сознавала, что во всем виновата сама. Во мне не было уверенности. Я многое могла бы сказать в защиту своих безделушек. Сказать об удобстве, функциональности, о новом стиле жизни... Но это не было моим убеждением. Я только старалась думать так. Воспитана я была по-другому. И хотя в душе я восставала против этого воспитания, восставала ежедневно, ежечасно, оно пустило во мне глубокие корни. Такие глубокие, что я уже не могла до них добраться. Я нуждалась в помощнике. Но его у меня не было.

Да, я потерпела поражение.

Мать делала вид, что ничего не замечает.

Но дня через два за обеденным столом, за нашим жалким обедом, который неизбежно состоял из купленных в кулинарии продуктов, она, словно между прочим, заметила:

«Моя пенсия не слишком велика, тем более если учесть растущую дороговизну. Ты выбросила много денег на ненужные вещи. Я не лелею иллюзий, что ты испытываешь ко мне какие-то нежные чувства, однако надеюсь, что по крайней мере чувство долга я смогла тебе привить... Подумай об этом».

Мать моя высказывается в таком стиле. Она говорит как по писаному, причем в любых обстоятельствах. Истинность мысли, высказанной таким образом, не может быть подвергнута сомнению. Она приобретает силу закона. Один из самых больших моих недостатков — неумение говорить веско. Я выражаюсь так же неловко, как и двигаюсь.

Но возвращаюсь к сказанному Матерью — она не ошиблась. Сознание долга ей удалось привить мне, даже слишком хорошо удалось. Никогда не замечала в своих знакомых парнях и девушках — моих одноклассниках настолько сильно выраженного «комплекса долга». Никто из них не живет такой жизнью — с постоянно, непрерывно довлеющим чувством вины. Это сознание бесит меня, я стараюсь притушить его новыми проступками и оттого страдаю еще тяжелее. Заколдованный круг! ЭТО сильнее меня. Сильнее ненависти, которую я порой испытываю к Матери.

Уже со следующей получки я стала кроме квартплаты отдавать Матери еще 45 рублей. Хотя и не обедала дома.

Не считите, что я мелочна в денежных отношениях. Я стараюсь вообще не думать о деньгах, и это удается мне вполне успешно. Требования к материальным благам у меня невелики. Здесь речь идет лишь о принципе. В наших отношениях все вопросы странным образом превращаются в принципиальные.

Ах, по-своему Мать, конечно, права. Пенсия у нее в самом деле небольшая.

Вернувшись в Латвию, Мать не могла сразу же начать работать, я была слишком маленькая, к тому же измученная дальней дорогой. Мы поселились в этой самой квартире, которая когда-то принадлежала родителям Матери, в этой самой комнате, бывшем зале, где тогда жила еще Сестра Матери. Сестра сумела сохранить из всего прежнего богатства только эту комнату, немного серебра, кое-что из мебели и ящики со шляпами в подвале дома. Сестру Матери я помню очень смутно, она была нежным существом, нянчила меня и говорила со всеми просительным тоном. Ее колени были мягкими, а руки — всегда теплыми. Несмотря на то, что Мать была почти на десять лет моложе Сестры, она сразу же стала законодательницей в нашей совместной жизни. Вспоминаю отрывок одного их разговора, только отрывок, без контекста, я была такая маленькая — чудо, что вообще что-то запомнила. Помню два голоса, Матери и ее Сестры, это было поздно вечером, я лежала, и они, наверно, думали, что сплю. Но я не могла уснуть, мне было холодно, чуть теплые радиаторы не могли нагреть нашу большую комнату. Плотно закутавшись в одеяло, я колыхалась между полудремой и полуявью и тут вдруг вздрогнула от резкого окрика Матери. Потом раздались всхлипывания и жалобный, охрипший голос ее Сестры.

«Это ужасно, Эльза, — всхлипывала она, — как ты переменялась, господи!»

«Ты тоже! — крикнула в ответ Мать. — Ты тоже!»

Прежде я не слышала, чтобы Мать кричала, и мне стало страшно от ее пронзительного голоса. Но продолжала она уже гораздо спокойнее:

«Мне стыдно за тебя, Луиза. Там было гораздо труднее, но нет, я не стала такой, как ты, Луиза. И не стану никогда».

Чем кончился этот разговор, я не помню. То ли я уснула, то ли остальное изгладилось из памяти. Даже не знаю, так ли сильно они не ладили, как мне кажется теперь. Возможно, несколько споров своей яркостью стерли память о долгих часах мира и согласия? Не знаю. Мать я никогда об этом не спрашивала.

Да, Сестра нашла для Матери работу, устроила ее регистратором в поликлинику. Зарплата была небольшая, но работой,

по всему видно, Мать была довольна. Вероятно потому, что могла работать в головном уборе — если и не в шляпе, то в белом накрахмаленном чепчике медсестры. Платка, в котором Мать приехала из Сибири, я никогда не видела, но уверена — она его не выкинула. Может, он хранится в шкафу Матери, вполне может быть. Где-нибудь под шляпками, завернутый в тонкую шуршащую папиросную бумагу. Так я это представляю, хотя Мать не сентиментальна и редко делает что-нибудь такое, что не имеет ясного логического обоснования. Глупостей, по крайней мере то, что она сама считает глупостями, она не делает никогда.

И опять я ошибаюсь — за свою жизнь она все-таки совершила одну глупость. Тогда, когда привезла меня из Сибири. Так думает Мать, так считаю, наверно, и я. Но Мать сама в этом призналась.

Призналась она очень давно, мне было тогда лет семь, и это одно из самых болезненных воспоминаний в цепочке эпизодических картин детства, оставшихся в моей памяти. Разговор с Сестрой Матери незадолго до ее смерти. Не знаю, почему он происходил в моем присутствии, возможно Мать думала, что я ничего не слышу. Или не понимаю. Но, может быть, и совсем наоборот — считала, что мне следует это услышать.

«Слава богу, что ты не одна остаешься, — сказала Матери Сестра, — девочка с тобой, будет о ком заботиться».

Она уже знала, что скоро умрет. Я тоже знала. В нашем доме не принято было скрывать дурные вести от ребенка, скрывать их, по-Материному, значило — проявлять мягкотелость.

Как могла Сестра, эта слабая, больная женщина, вообразить, что нужна Матери?! Или думала, что своей беспомощностью может смягчить ее жесткий нрав? Или догадывалась, что без всеобъемлющего миролюбия, всепрощения и всепрятия Сестры жизнь Матери будет проходить во враждебной мрачной замкнутости? И надеялась, что впредь я смогу выполнять ее миссию?

Как она ошибалась!

Сестра боролась не ПРОТИВ Матери, она боролась ЗА. Но для этого надо было быть гораздо сильнее, чем я, гораздо сильнее. Бороться ПРОТИВ несравнимо легче. Не углубляться. Не понимать. Не жалеть. Избавиться от совести...

Если бы вы знали, как тяжело даже это.

Так вот:

«Хорошо, что девочка с тобой, — сказала Сестра, — хорошо, что ты привезла ее».

Мать ответила очень резко, ясно и коротко, я уже говорила, что Мать всегда высказывалась кратко и никогда ничего не повторяла дважды:

«Это, Луиза, самая большая глупость, которую я совершила в своей жизни. Ничего, я сумею заплатить и за нее».

Так она сказала.

Эти слова я начала понимать только теперь.

Мы платим уже долгие годы. Обе. За что я? Может, за отсутствие любви? За свою слабость? За слабость Матери — мгновенную — тогда, двадцать девять лет назад?

Совершенно ясно, что я до сих пор не знаю, как все случилось, и вряд ли когда-нибудь узнаю. Наши отношения с Матерью, такие, какие они теперь, какими их сформировали годы, делают разговоры на эту тему невозможными.

Начало происшествия со мной скрыто в далеком прошлом. Первые годы в Сибири Мать работала на засолке рыбы. Это самое трудное время в жизни Матери, о нем она говорила довольно много. Нет, я не стану развлекать вас жуткими рассказами про соль, которая разъедает руки до костей, про обмороженные ноги, про ревматизм. Я упоминаю об этом лишь затем, чтобы вы поняли, что Матери тогда действительно было трудно, такой молодой, непривычной к работе. И еще потому, что если не знать, как она жила в те годы, значит, не знать о моей Матери ничего.

В то время Мать жила в одной многодетной русской семье, у Ксении и Николая. Эти люди сами терпели нужду, но помогали Матери чем только могли: едой, одеждой, самодельными мазями, травами. Никогда я не видела Мать такой, как в те минуты, когда она говорила о них, особенно о Ксении. Голубушка, бедняжка моя, душенька — так Ксения обращалась к ней, так успокаивала и жалела. И когда Мать повторяет слова Ксении, ее голос становится будто бы нежнее, он делается каким-то глубоким, ласково-певучим, лицо молодеет, а руки ищут, что бы погладить. Хоть меня, если я не отступила вовремя и не отвернулась строптиво.

Позже Мать перевели на работу в другое место, она жила у других людей, тоже милых и добрых, но ту, первую семью не забывала никогда. Несмотря на дальность расстояния, ей даже удавалось иногда навещать Ксению.

Не все, конечно, было мрачно в ее жизни, были в ней и светлые стороны. Много добрых людей встретила Мать там, в Сибири. Тем более непонятно, как ей удастся настолько категорично разделять «тогда» и «сейчас», «там» и «тут». Как удается не помнить о хорошем и хранить только ненависть. Ненависть, которую она так отчаянно старалась привить и мне. Иногда я даже удивляюсь, почему это ей не удалось.

Правда, Матери ненависть помогла. Помогла вынести первые, самые трудные годы.

«Тогда я перестала верить в бога, — сказала она мне однажды. — Я поняла, что полагаться надо только на себя».

На людей Мать никогда не полагалась. Когда у нее отняли бога, она осталась одна.

Что тут скажешь, в роковые минуты жизни каждый ищет самый подходящий для него способ борьбы за существование. И что я знаю о себе?

Со временем дела Матери пошли все лучше и лучше. Более легкая работа. Не такая голодная жизнь. И любовь — насколько я понимаю.

В помещении клуба размещалась и школа, там Мать и познакомилась с тем мужчиной, что на фотографии. Учитель математики, он, так же как и она, был выслан из Риги.

Об этом времени я знаю меньше всего. Улыбка Матери на фотографии. Лето. Корзина с ягодами... Это все. Математик оказался «математиком» и в личной жизни. Мать была нужна и хороша там, в Сибири. В Риге его ждала жена. Для Матери это обернулось тяжелым ударом. Как знать, возможно самым тяжелым из всех. Но «математика» она не винила, она опять ви-нила Жизнь.

Об этом Мать рассказала мне однажды в коротких скупых словах, неохотно и сердито, и то была единственная ее «Сибирская повесть», вызвавшая во мне сочувствие. Но Мать ждала от меня не сочувствия. Не хотела, чтобы ее жалели. Она хотела, чтобы я помогла ей ненавидеть. Но моя душа противилась ненависти. Наверно поэтому я не способна теперь ни на то, ни на другое.

Опять я зашла слишком далеко в своих рассуждениях! Дайнис говорит, что так много думать о себе попросту ненормально. Даже эгоистично. Я ставлю себя в центр мира, слишком прямо отношу все к себе, выделяю свои переживания и свою жизнь, сложность и выдуманную глубину чувств как нечто необычное, особенное... Порой он даже утверждает, будто я сама в себя влюблена.

«А кто еще будет меня любить, если не я сама?» — спрашиваю его.

«Я», — отвечает Дайнис. Мы смеемся и забываем об этом разговоре.

Да, «математик» бросил Мать.

Могу только гадать, как после случившегося переменился характер Матери, что она утратила и что приобрела от этой связи.

«За всю жизнь ни один урок не обошелся для меня без страданий», — говорит Мать. И я должна обучиться, пройдя через страдания. Чтобы я стала такая же, как она.

Я не хочу.

Я обманула надежды Матери.

Кого Мать хотела воспитать из меня? Компаньонку? Едино-мышленницу? Ах нет, по-моему — осла, который помог бы ей тащить тяжкую ношу, делить ее горечь, ненависть, злобу. В надежде, что самой станет легче. Но если бы ей это удалось?... Как говорится: разделенная радость — двойная радость, разделенное горе — полгоря. А разделенная ненависть? Подозреваю, что ненависть увеличивается даже втрое.

Когда я была еще совсем крохотной, Мать говорила со мной о вещах, которые недоступны разуму маленького ребенка.

Рассказывала о прошлом. Нет, не о Сибири. О том, что было до, о том, что она называла двумя словами «времена Латвии». Нашей задачей было — упрямо жить в том времени, которое давно миновало. Не обращать внимания на происходящее сейчас. Как ей самой это удавалось? На работе. В коммунальной квартире.

Ну, на работе она не позволяла обращаться к себе иначе, как мадемуазель Шварцберг. В отношениях с коллегами никогда не переступала границ строгой официальности. Между прочим, работником она была хорошим. Наверно, даже очень хорошим. В дни государственных праздников приносила домой почетные грамоты. Как я радовалась им! Прыгала вокруг Матери и с пылающими щеками просила дать поддержать. Мать не давала. Что-то презрительно бурча, она прятала очередную грамоту в ящик секретера, где они скапливались годами. Или память меня подводит, или в те минуты я действительно замечала в лице Матери нечто вроде тайного удовлетворения? Если нет, то не проще ли было вообще не показывать мне грамоты? Засунуть куда-нибудь потихоньку? Выбросить вон, если они ничего не значат?

Но как бы ни было на работе, а дома для Матери начиналась совсем другая жизнь. наших соседей по квартире, две латышские и одну русскую семью, она просто не замечала. И я не смела замечать их. Когда по дороге на кухню мы проходили мимо двери Калниной, она говорила: здесь наша спальня. У двери Ткаченко — здесь наши кабинет и библиотека. У двери Ошиной — детские. Наши комнаты. Они закрыты. Возможно, на время. Возможно — навсегда. Они пусты. Они не нужны нам.

Я так не могла. Я хотела играть с Марите и Колей. Бегать по загроможденному вещами коридору. Кричать и смеяться. Играть в футбол, забивая голы в дверь кухни. Есть в бывшем кабинете блины, испеченные Колиной мамой. (Я уже говорила, сами мы ничего не варили и не жарили, питались тем, что можно в готовом или полуготовом виде купить в магазинах.) Смотреть телевизор у Калниной в бывшей спальне. (У нас телевизора, естественно, не было, нет и сейчас, он разрушил бы мир, придуманный Матерью.)

Все это я могла делать в отсутствие Матери.

Если Мать заставляла меня в коридоре с Колей или Марите, ей достаточно было бросить только один взгляд, и —

«Я уже иду, мамочка, извините, пожалуйста».

Мать велела мне обращаться к ней на «вы». И это встало между нами каменной стеной, когда я заметила, что другие дети называют своих матерей на «ты». Я перестала говорить «вы», но и «ты» произнести не могла. Я проглатывала местоимение. Избегала вообще обращаться к Матери, выбирала иные, не прямые формы. Эту привычку я сохранила до сих пор.

«Мама, я хотела бы попросить...» — говорю я.

Или:

«Если у мамы будет время, мы вечером могли бы сходить к портнихе».

Так повелось. И я настолько привыкла к неопределенному обращению, что зачастую употребляю его даже в разговоре с товарищами по работе.

С Марите и Колей мы сперва хорошо ладили. Дети есть дети. Но когда Марите и Коля подросли, когда все мы подросли, они многое поняли.

«Шляпина дочка», — говорил Коля и поворачивался ко мне спиной. «Шляпа» было второе прозвище Матери, так ее называли дети.

«Шляпина дочка, Шляпка», — дразнилась Марите.

Видите ли, в детстве, когда я выходила из дому, мне приходилось надевать шляпу. Не шапку — вязаную или из кроличьего меха, какие носят все нормальные дети, нет, — маленький фетровый шедевр. Серебристо-серый фетр, черные жемчужинки и темно-синяя розочка. На улице люди оборачивались, чтобы посмотреть нам вслед. Мать гордилась.

«Она удивительно подходит к твоим волосам», — говорила Мать, и ее щеки заливал желтоватый румянец. Обычно у Матери краснел только лоб. В гневе.

Уже с детства я терпеть не могу шляп.

Комната, наш зал, — была моей тюрьмой. Одноклассникам нельзя было приходиться ко мне. Я не смела бывать у них. Вечно одна или с Матерью. В просторной комнате. В сероватом свете утра. В сумерках — надо же экономить электричество. И училась, училась, училась. А чем еще мне было заниматься?

Всегда одна.

Как-то раз я принесла домой котенка. Вполне вероятно, что это был не слишком чистый котенок. Да, возможно, это был даже больной котенок. Мать выставила его за дверь. В тот раз я впервые открыто выступила против воли Матери. Со мной случилась истерика. Я кричала. Упала на пол, била ногами, брыкалась.

Я упивалась своими чувствами, но все-таки у меня достало времени наблюдать и за Матерью. Она была всего лишь удивлена. О, как великолепно моя Мать это умеет — продемонстрировать холодное, презрительное удивление! С минуту посмотрев на меня, Мать вышла из комнаты. Вскоре я затихла.

Странно все-таки, какие чувства побудили Мать подарить мне через несколько дней клетку с попугаем?

Нет, это действительно была противная птица. И такая же самоуверенная, как Мать. Мне не нужен был попугай. Это был ее попугай. И Мать на самом деле полюбила его. Полюбила так, что я даже начала ревновать. И возненавидела птицу еще больше.

Примерно через полгода попугай издох без всякой видимой причины. Я уверена, что это произошло благодаря моим молитвам. Не богу. Вероятно, судьбе. Чему-то великому, что сильнее меня, сильнее птицы, даже сильнее Матери.

Я так желала попугаю смерти, что он подох.

Мать переживала, а я почему-то не испытывала удовлетворения.

Теперь чучело попугая сидит на каминной полке, его клетка валяется где-то на чердаке. Чучелам птиц клетки не нужны.

Первое время я очень боялась чучела, честно говоря, немножко побаиваюсь его и сейчас. Когда остаюсь одна в комнате, глаза птицы с упреком наблюдают за мной.

Дайнис говорит — нечего бояться. И нечего бояться Матери, она всего-навсего выпотрошенная и набитая опилками птица, такое же чучело, как ее попугай. Ну конечно, у Дайниса все просто. Он не понимает, что я не боюсь Матери. Не страх велит мне являться домой в десять вечера, не страх не дает решиться на то, чего Дайнис от меня ждет.

Дайнис в самом деле любит меня. И я его тоже. Я поняла, что он мне нужен именно такой, какой он есть. Я не жду, чтобы он понял меня. Не хочу, чтобы он вместе со мной блуждал в лабиринтах моих сомнений. Слава богу, что он прост и прям. Отсутствие сомнений, способность принимать решения, твердо зная, что хорошо и что — плохо, — именно те качества, которых мне не хватает. Дайнис очень сильный, да, он такой же сильный, как Мать. Он даже еще сильнее — он любит жизнь. Он ясно видит свою цель и идет к ней. Он не безжалостный, он только никому не позволяет мешать ему делать то, что считает правильным и нужным.

Мать видела Дайниса только один раз, но догадывается, что мы встречаемся. Отозвалась она о нем коротко:

«Герой комикса». — Сказала она это с презрением. Ну что ж, может быть, он так и выглядит — крепкая фигура, крупные челюсти.

«Геройчик», — спустя минуту поправились Мать. Это уже было явное желание причинить мне боль. И только.

«Как ты думаешь, что для тебя важнее, — спрашивает меня Дайнис, — стать счастливой и жить, как все нормальные женщины, или потакать капризам отжившей свое старухе?»

Потом он обнимает меня и шепчет:

«Она погубит тебя, Катенька».

Сперва я уклоняюсь от его объятий, потому что в глубине души мне претит, когда кто-то (не я) задевает мою Мать. Однако от этих слов мне становится странно-легко. Старуха... Отжившая свое старуха. Все. Просто и хорошо. Я устала от сложностей и осложнений. С Дайнисом так чудесно... И я отвечаю на его поцелуи и забываю все-все на свете. Есть только

Дайнис, его руки, губы, его зубы и мои губы, его руки на моей груди, руки на животе, вкус крови, руки — везде, тяжесть его тела, которое придавливает меня и удивительным образом — поднимает и несет, и свет, жутко много света, вся моя жизнь теперь будет озарена этим светом, и я кричу от счастья, кричу вместе со своим телом.

Потом мы лежим усталые, это происходит в его комнатке, в общежитии, пока остальные в кино. И Дайнис опять спрашивает меня — когда? Когда, наконец, я решусь? Дайниса зовут в Даугавпилс, новая квартира, хорошая зарплата, такие инженеры, как Дайнис, на дороге не валяются, хотя инженеров пруд пруди. Главный инженер, говорит Дайнис. Но это еще не все. Он пойдет дальше, еще дальше.

«Ты понимаешь, — говорит он, — наконец-то можно работать! Ты понимаешь, работать по-настоящему, Катенька, сейчас такое время, какого еще не было. Передо мной открываются самые большие возможности, все зависит только от меня, от меня самого!»

Сознание этого его опьяняет.

По-моему, все звучит слишком оптимистично, и уж никак не в постели вести такие разговоры, — точно монолог положительного героя из плохой книги, — и солнце больше не ослепляет меня, я вижу голые стены общежитской комнатухи, отклеившиеся обои, наполовину опорожненные кефирные бутылки на подоконнике и пустую консервную банку; пол грязный, его давно не подметали, и на полу валяется мое соскользнувшее со стула белье, небо за окном серое, свет тоже серый, а Дайнис хочет, чтобы я представила себе нашу квартиру, такую маленькую и чистую, и солнечную, и обставленную по-современному, и я вожусь на кухне, конечно, в клетчатом переднике, не знаю, почему Дайнису нужен именно клетчатый передник; а в комнате на стенах нет ни одной картины. Про это он забыл.

Нет. Я ничего не могу представить.

Из-под противоположной кровати торчит старый ботинок, устрашающе большой ботинок с оторванной подошвой, этот ботинок словно глумится надо мной... и вообще... Здесь так много чужих вещей, они не принадлежат ни Дайнису, ни мне, и становится стыдно, потому что я голая и потому что мы только что здесь занимались любовью.

Я тянусь за бельем, но Дайнис удерживает:

«У тебя совсем не осталось времени?»

Он ничего не понимает, Дайнис, но я не должна забывать, что люблю его именно за это.

Голая, я встаю и открываю окно. Свежий влажный порыв ветра врывается в комнату и разгоняет застоялый воздух.

«Скоро полдесятого, — говорю я, — мне пора идти».

Не сказала бы, что мне так уж хочется уходить, но не хочется и оставаться.

Домой иду одна, не желаю, чтобы меня провожали. Но едва покинув Дайниса там, в общежитской комнатухе, я с новой силой ощущаю, как крепко люблю его.

На углу опасливо гляжу на часы — в десять мы с Матерью пьем вечерний чай.

Мы сидим за маленьким столиком перед камином, в полумраке, как правило, молчим, пьем чай с печеньем «Селга», Мать беспрерывно курит и окурки, не загасив, бросает прямо в камин. Сверху, с каминной полки, на нас смотрит попугай.

Я беру сегодняшнюю газету (ее выписываю я, Мать газет не читает) и нахожу в ней письмо. Это письмо от двоюродной сестры Матери, которая живет в Канаде. Каждый год мы получаем от нее по одному письму. Мать их не распечатывает и прячет в ящик секретера. Нет, она ничего не хочет знать о своей двоюродной сестре, она ничего не хочет знать ни об одном эмигранте.

«Труссы и предатели родины», — говорит Мать. Бедная Мать, как ей нравится выражаться высоким стилем. Надо думать, нечто подобное она написала и в своем единственном письме туда, сразу после возвращения из Сибири. Я могу только гадать, что пишет двоюродная сестра из Канады, как меняется ее тон от обиженного до умоляющего. Но письма приходят, она не теряет надежды, эта двоюродная сестра. Наверное, она очень одинока.

Молча я кладу письмо перед Матерью, молча она прячет его в секретер.

И мы продолжаем сидеть за столиком и пить чай. И я вспоминаю разговор, который состоялся за чаепитием много лет назад и сыграл такую роль в наших дальнейших отношениях с Матерью.

Тогда я сообщила, что меня примут в пионеры.

Удивление Матери было неподдельным, да, она утратила даже свою презрительную холодность. Она считала, что в пионеры принимают только октябрят, а вопрос о вступлении в октябрята решился очень просто.

«Я не желаю видеть тебя с этим значком», — сказала Мать.

И только. Я заплакала и смирилась. Матери казалось, что на этом все кончилось.

А тут я пояснила, что меня и так примут. Потому что я очень хорошо учусь. Я сознательная. И аккуратная. И честная. Одним словом, по всем статьям подхожу. Правда, я недостаточно активна, но когда вступлю в пионеры, смогу проявить себя.

Все это я выложила без запинки, совершенно спокойно. Я готовилась к решающей минуте несколько дней. Я хотела быть пионеркой и знала, что буду.

Однако боялась ужасно.

Мать какое-то время не говорила ни слова. Прикурила сигарету. Походила по комнате. Села к столику.

«Значит, ты хочешь быть пионеркой?» — переспросила она так спокойно, что я даже осмелилась громко вздохнуть.

«Да», — ответила я.

«Но почему?» — продолжала Мать все в том же спокойном тоне.

Я была ошеломлена. На языке вертелись совершенно неподходящие фразы, вроде «октябрята — хорошие ребята» и «пионеры — помощники комсомола». Но могла ли я ответить Матери так?

«Ну да, — робко пролепетала я, — все ведь вступают...»

«Все!» — патетически воскликнула Мать и воздела руки к небесам.

И повторила:

«Все!»

В левой ее руке дымилась сигарета. Голова, увенчанная скромной мышинного цвета шляпкой, была откинута назад, взгляд обращен к люстре — словно к какому-то высшему существу, лоб покраснел от гнева.

Выдержав многозначительную паузу, Мать опустила руки, приняла естественную позу и повторила в третий раз, теперь уже нормальным голосом:

«Все».

Потом она пристально посмотрела в мои глаза.

«Знаешь ли ты, дочка, что если хочешь вступить в какую-то организацию, надо прежде всего иметь убеждение? Надо иметь ясную цель?»

Я кивнула. Конечно, звучало это очень правильно. Однако я чувствовала: что-то тут не так. Ах, не только чувствовала, но знала подлинную причину сопротивления Матери.

«Отвечай», — сказала Мать.

«Пионеры помогают старым людям», — совсем неуместно выдохнула я. А что еще я могла сказать? Убеждение? Черт его знает, было оно у меня или нет. Хотелось быть вместе со всеми. Надеюсь, что тогда у меня появятся друзья, что девочки больше не станут от меня отворачиваться.

Мать засмеялась. Казалось, что смеется она от души.

«Ты думаешь, для того, чтобы помочь старшим, обязательно быть пионеркой?»

Она склонилась ко мне близко-близко. Положила руку на голову, отвела волосы со лба. Властно и одновременно будто бы нежно глядя мне в глаза, Мать прошептала:

«Не забывай, кто ты такая...»

Она склонялась надо мной все ниже, в глазах ее мерцало что-то настолько непонятное для ребенка, что-то настолько пугающее и похожее на безумие, что мне стало дурно и страшно.

Преодолев мгновенное оцепенение, я, всхлипывая, вырвалась из рук Матери, бросилась в постель и громко зарыдала.

Я проплакала весь вечер.

Мать со мной не говорила.

Поздно, совсем поздно, когда Мать уже уснула, я осмелилась раздеться и залезть под одеяло. Впервые я всерьез задумалась о том, кто же я такая. Этот вопрос не давал мне покоя долгие годы. Теперь он меня больше не интересует, по крайней мере в том смысле, как тогда.

Вот все, что я знаю.

В пятьдесят шестом году, перед возвращением в Латвию, Мать по пути заехала попрощаться с Ксенией и Николаем. В большой семье было пополнение — полугодовалая девочка. Мать поздравила Ксению с прибавлением и тогда узнала, что ребенок вовсе не их. Да. Жила у них одна латышечка, совсем дитё, девчушка. Родители ее, бедняжки, умерли здесь, в Сибири, оставили голубушку совсем одну. Ну, тут ножка и поскользнулась. И сама, голубушка, ох как дорого за это заплатила: родила ребеночка и померла. Ай, трудно девчонке пришлось!

Рассказывала об этом Ксения со слезами.

«Эх, оставила милочка свою голубушку, сиротинкой оставила... Ну что ж, вырастим, как свою, неужто чужим людям отдадим».

И тогда Мать решила. Решила вдруг, неожиданно для себя самой. Надо взять ребенка в Латвию. Пусть вырастет там. Пусть говорит на языке матери.

Нет, Мать никогда не объясняла, что заставило ее решиться на такой шаг. Я продумала сотни причин, все они казались одинаково достоверными и по-человечески понятными и все — одинаково бездоказательными.

Ксения сперва колебалась, трудно было отрывать ребенка, как-никак, а полгода растила-воспитывала девчушку, но в конце концов Мать с помощью Николая уговорила ее. Утирая слезы, Ксения собирала ребенка в дорогу. Времени было мало, да и Мать поторапливала. Может, боялась передумать?

Об отце моем Мать Ксению не спрашивала. И сама Ксения о нем ни словом не обмолвилась. То ли не знала ничего, то ли не хотела говорить?

Путь домой был тяжелым. Для меня — чуть ли не роковым. Мать привезла меня тяжелобольной — двустороннее воспаление легких. И в дороге, и уже тут, в Латвии, она боролась за мою жизнь с яростью хищного зверя, с мрачной одержимостью.

Да, это я знаю.

«Не забудь, кто ты такая».

Когда-то я слышала эти слова изо дня в день.

А о чем мне помнить? Что я дочь сосланной латышки? Что обе мои матери сосланы безвинно? Так сказать, за грехи отцов?

Ну хорошо, я помню. Но думать все время только об этом не хочу. В детстве навязанная необходимость думать только

об одном рождала неистовое сопротивление. Чем больше Мать говорила о своей невинности и страданиях, тем более пылко я верила в противное. Суровость Матери, ее властность никак не вязались с образом безвинной мученицы. С мрачной радостью и почти нездоровым наслаждением я давала волю своей детской фантазии и старалась придумать самые разные преступления, которые Мать могла бы совершить в восемнадцатилетнем возрасте. Конечно, восемнадцать лет были для меня чисто условным понятием. Мать в те времена я представляла точно такой, какой она была сейчас — старой и злой на весь мир. Да, я выдумывала преступления и сама крепко верила в них. После каждой обиды, которую причинила — или мне казалось, что причинила, — Мать, я забиралась в какой-нибудь уголок и сочиняла для себя эти утешительные сказки.

Иногда они даже снились мне.

Матери не хватало нежности ко мне.

Может быть, именно за это я должна быть благодарна судьбе, может быть, как раз поэтому Матери не удалось привить мне ненависть к моему времени? Ко всему тому, что я, естественно, любила. Потому что я все-таки дитя этого времени.

Теперь легко говорить. Теперь все встало на свои места. Я осознала ошибки, раскаялась в преувеличениях. Порыв бури, расчищающей себе путь в лесу, не делает различия между деревьями.

Лес заживляет раны.

А Мать — она словно бы сгорела. Холодный пепел. Ничего больше.

Я называю Мать сильной. Порой мне казалось наоборот. Ее жизнь свидетельствует о ее слабости.

Но вернемся к прошлому. Я вступила в пионеры. А потом, естественно, в комсомол. Наши с Матерью разговоры все больше ограничивались обыденными мелочами, а то и просто какой-нибудь ядовитой фразой. Фразой Матери о моей жизни или жизни вообще.

Уже много лет мы с Матерью чужие. Хотя... кто или что дает чужим власть друг над другом? А я вне всякого сомнения ощущала власть Матери над собой, и, бывало, свою — над нею. Власть над другим человеком могут дать только любовь или ненависть, так я думала. Следовательно?..

Ах, я так много размышляла надо всем этим...

Я устала.

Когда по вечерам мы сидим перед дышащим сыростью камином, мне бывает жаль нас обеих. Как двух путников, которые всю жизнь, подгоняемые надеждой и отчаянием, шли не по той дороге, веря в глубине души в непогрешимость своего пути, но в конце вернулись к его началу, непонятным образом отдалившись друг от друга еще больше.

И нет уже сил пуститься в дорогу сызнова.

Мне кажется, Мать стареет. Нет, ее волосы не стали седее, чем прежде. Может быть, только появилось чуть больше морщин на лице. И все же я чувствую это. По движениям рук — они стали не так точны, как бывало. По голосу — в нем порой проскальзывает старческое дрожание. По глазам — темный лед их начал подтаивать, и взгляд все больше углублен куда-то в себя. Невозможно выразить словами трудно различимые приметы старости — их замечает лишь тот человек, который хорошо тебя знает и живет все время рядом. Это совсем иные признаки, чем те, которые бросаются в глаза после долгой разлуки, когда при встрече хочется воскликнуть: как же ты постарела!

На прошлой неделе, придя с работы, я застала Мать разглядывающей фотографию. Ту самую, где она снята с поросенком и математиком. Когда я вошла, она держала снимок в дрожащей, слегка вытянутой руке, как это обычно делают старые люди, чьи глаза лучше видят удаленные предметы и события. Всего лишь один момент казалось, что она вот-вот что-то скажет мне. Или ждет, чтобы я сказала. Но то был только один момент. Она положила снимок в ящик своего письменного стола, села и раскрыла книгу. Не сказанные нами слова еще долго витали в комнате.

Мне вдруг захотелось погладить Мать по голове. Может быть, и я старею?

Сегодня была у Дайниса.

Он позвонил мне на работу перед обедом. Попросил, чтобы я приехала. Я поняла, что должна ехать, это важно. И безошибочно почувствовала: наконец настал час, когда я должна буду решиться. Меня охватило малодушие. Положив телефонную трубку, я без сил опустилась на стул. В голове метались совершенно бессвязные мысли. Непонятно почему, в памяти всплыла Сестра Матери. Вид у меня, наверное, был необычный, потому что Анита посмотрела на меня испуганно:

«С мамой что-нибудь?»

Я покачала головой.

«Дайнис?»

«Дайнис», — подтвердила я. Произнеся его имя, я словно очнулась. Стало невыразимо легко. Дайнис! Никаких проблем... Я даже тихо засмеялась. Над своей глупостью, над своим неумением определиться. Милые мои! Ну какая же я дура! Ведь мир так устроен, чтобы двое встретились и полюбили, а потом сошлись и жили вместе. И это — только их жизнь, только их. И никто не имеет права вмешиваться в нее!

Быстро уговорив Аниту сделать мою работу, если появится что-нибудь срочное, я оделась и выскочила на улицу.

Здесь все соответствовало моему настроению! Легкий морозец и безветрие, прозрачное чистое небо и ясное солнце в нем. И сверкающая белизна, и снег поблескивает и скрипит под ногами, и дышится так легко, и воздух такой чистый! И люди — румяные, с блестящими глазами, и радостный визг детей, и гомон в скверике возле института... Все, все такое чистое! Все обещает весну!

Путь до Дайнисова общежития длиной в час я проделала за минуту — по крайней мере мне так показалось.

Я влетела к Дайнису вместе со всей свежестью этого дня, с морозом, со своей бьющей через край радостью. Я не чувствовала себя такой юной даже в семнадцать лет. Я бросилась Дайнису на шею, закружила его, ударившись, естественно, об угол стола, но боли не почувствовала, хотелось смеяться, от сдерживаемого смеха на глаза навернулись слезы, а может быть, они выступили от любви — ведь любовь была так велика и так стремилась вырваться наружу. Бедняжка Дайнис! Как он был смущен, он же не привык к такой порывистости! Как глупо улыбался, стараясь кружиться вместе со мной и наступая мне на ноги! Ах ты господи!

Да. В конце концов мне стало неловко, я пробормотала что-то про чудесную погоду и уселась на ближайшую кровать.

И тут я увидела чемоданы.

И опешила.

Дайнис, конечно, ничего не заметил. Не заметил, КАК я на них смотрела.

Я же знала, знала, знала!.. Разве я не радовалась как раз этому?!

Дайнис принес из общежитской кухни горячего чаю и, накрывая на стол, начал рассказывать. Оказывается, он уже получил назначение на комбинат. О своей работе он всегда говорит пылко. Так было и сейчас. Он говорил о том, как хорошо будет в Даугавпилсе, какие возможности откроются там перед ним и... ну, словом, обо всем том, о чем я уже сто раз слыхала. А кончив говорить о работе, он перешел к нашей совместной жизни, но и тут для меня не было ничего нового. Нет, говорил он действительно захватывающе! Лихорадочно курил, что было для него несвойственно. Размахивал руками. И все-таки я в нашей будущей жизни не смогла увидеть ничего, кроме двухкомнатной квартирki, обставленной современной мебелью, и нас в ней. Как на картинке из немецкого журнала. Себя я на этой картинке узнавала с трудом. Впервые я осознала, что семейная жизнь должна состоять не только из чистой любви, но и еще кое из чего. Из чего? Мать меня этому не научила.

Я сидела и тупо таранилась на чемоданы, они были тонкой свиной кожи, я даже не знала, что у Дайниса есть такие, как не знала, что у него так много всяких вещей. Один из чемоданов

был открыт, в нем лежало ослепительно белое белье. Да, он на диво чистоплотен, мой Дайнис. Однажды я спросила, как он сочетает свою любовь к порядку с хаосом и грязью, царящими в общежитии. «Я не стану убирать за другими, — сказал Дайнис. — Мне достаточно того, что моя кровать и мой угол стола чистые».

День бросал свои яркие отсветы на желтоватые чемоданы, и пол вокруг них казался еще более пыльным и замызганным, чем обычно.

Мне надоело разглядывать чемоданы, я обернулась к Дайнису. Смотрела на него, словно впервые. Мужчина. Около тридцати. Очень здоровый и мужественный мужчина. Широкие челюсти. Сильный торс. Белые зубы. На самом деле красивый мужчина. Но, неизвестно почему, когда я глядела на этого настоящего мужчину, на этот идеал мужчины, мне вдруг стало жутко грустно. Прямо до слез.

«Ты слышишь? — спросил Дайнис, похоже он уже второй раз задал свой вопрос, а я пропустила все мимо ушей. — Завтра я должен ехать».

Я вопросительно посмотрела на него.

«Ты, естественно, не сможешь так быстро справиться, но за месяц мы вполне сумеем все устроить, правда?»

Я молчала.

Только сейчас Дайнис заметил — что-то не так.

«Эй!» — удивленно воскликнул он, пристроился рядом со мной на кровати и обнял за плечи.

«Эй, старушка, ты все еще сомневаешься?»

Сомневалась ли я? Этого я не знала.

Нет, я не сомневаюсь, хотелось мне сказать. Я определенно за месяц справлюсь со всеми делами и приеду к тебе. Это я хотела сказать, но сказала совсем другое.

«А как же Мать?»

«Мать!» — чуть ли не патетически воскликнул Дайнис и отпустил мои плечи. И почему-то я вспомнила, как когда-то Мать воскликнула: «Все!» — это когда меня хотели принять в пионеры. Они правда были чем-то похожи. Мать и Дайнис.

«Неужели ты не понимаешь? — Дайнис был в отчаянии. — Разве мы не обговорили все уже сто раз?»

Он встал, подошел к столу, прикурил очередную сигарету, но тут же потушил.

«Ты же не откажешься от... от всего из-за Матери?»

Он повернулся к окну и добавил:

«К тому же она вовсе и не мать тебе».

И тут я пожалела, что рассказала обо всем Дайнису. Но Дайнис распалился, обычно он мне очень нравится злым. Милый Дайнис.

«Не понимаю, о каком долге может идти речь? Что она дала тебе, кроме еды и тряпок? Не соображаешь, что ли?»

Тут Дайнис осекся, сконфуженно закашлялся — почувствовал, наверное, что зашел слишком далеко.

«Ну хорошо. Будем посылать ей деньги. Морального долга у тебя перед ней никакого».

Молчание.

Трамвай за окном.

С крыши уже капает, капель размеренно стучит по подоконнику — тук, тук, тук.

«Ты слишком прямой, Дайнис, — говорю я наконец, — слишком прямой и правильный. Человек не должен быть таким правильным. И к тому же... ты видишь только черное и белое».

С трудом я проглотила комок, стоявший в горле.

«Я, наверное, серая, Дайнис».

«Черный, белый, серый! — вспыхнул Дайнис. — Надоело!»

Слова, как очумевшие птицы, стучались в окно.

«Правильный и прямой! Да, я такой! Да, я прямой и правильный! И не хочу быть другим! И если я знаю, что такое черное и что...»

«Знаешь?» — прерываю я его.

И опять молчание.

Я сижу, Дайнис стоит у окна, и мы смотрим друг на друга. И мне кажется, что он вот-вот расплачется.

Мы приближались друг к другу, как слепцы, мы шли словно сквозь глухую темень, робко нащупывая дорогу. И пугающим был звук наших шагов в комнате.

И вот мы рядом. Мы встретились посреди комнаты и стояли обнявшись, стояли в потоках золотистого света, лившегося из окна, стояли затаив дыхание, и я скорее почувствовала, чем услышала, что Дайнис шепчет мне на ухо:

«Ты же хочешь ребенка, Катенька...»

Да, ребенка. Я прижала ладони Дайниса к своему лицу, и руки его стали мокрыми от моих слез. Конечно. Я хочу ребенка. Маленькую девочку. Я хочу любить своего ребенка и Дайниса, и пусть он любит меня, и пусть вообще все любят друг друга, и никогда не иссякает поток света, который льется на этот город, на этот дом и на нас...

Зимний вечер был уже насыщен тьмой, когда я, переполненная необычным, тяжелым счастьем, шла домой. Шла, чтобы сказать обо всем Матери.

Как всегда, мы сидели перед камином и пили свой вечерний чай. Мать в кресле-качалке, я в старом, обтянутом кожей кресле, в «кожанке», как я его называла. Это мои ноги лишили его блеска — в детстве я постоянно играла в нем. В руке Матери дымилась сигарета, аромат свежего дыма смешивался со стоялым запахом окурков. Дым лишал комнату реальности, ее освещала единственная лампочка над камином, и казалось, что комната окутана туманом. Ночник бросал небольшой круг света на нас с Матерью, на наш столик и чашки, на альпийские фиалки в почти что черном металлическом кубке, и казалось, что этот

кружок хочет еще больше съежиться, стать еще меньше, что он отступает перед темными тенями, скопившимися в углах комнаты. Мы сидели в этом дрожащем круге света, и я чувствовала, что только мы не даем ему съежиться окончательно, и если бы одна из нас встала и ушла, он осветил бы оставшуюся, как резкий луч прожектора, — одну, наедине со своими мыслями, на этой темной сцене.

Я наблюдала за Матерью.

Властное лицо. Тени под глазами. Плоская грудь. Упрямый рот.

Я разглядывала Мать пристально, как никогда раньше. Хотя нет, так сказать было бы неправильно. Я смотрела на нее иначе. Не как враг глядит на врага, стараясь разгадать его мысли. Я смотрела на нее так, как человек смотрит на другого человека, которого он решил оставить.

И тогда я сказала. Мне очень хотелось в этот момент закрыть глаза. Как ребенку. Но я не закрыла глаз.

Я видела, как всколыхнулось лицо Матери. Да-да, именно всколыхнулось. Как отражение на воде. Как рисунок дыма в воздухе.

И совсем странным был голос Матери.

«Ну что ж... Я знала, что скоро это случится...»

Я оцепенела. Я увидела слезы в глазах Матери.

Мать отвернулась. Даже в такой миг она не желала показать свою слабость.

Теперь я видела только профиль Матери, темный, не освещенный лампочкой профиль. Я видела, как по-старчески трясется ее голова в маленькой, кокетливо сдвинутой на бок шляпке; как беспомощно хрупка ее шея, как согнута годами спина, какими размытыми стали черты сурового лица, теперь притушенные тьмой и временем. И еще я увидела это лицо более молодым, да, несомненно более молодым, тоже в профиль, ночью, у моей постели, когда я болела скарлатиной. Это самое лицо, озаренное таким особенным светом, — когда Мать протягивала мне апельсин, первый апельсин в моей жизни. И еще — взволнованное, искаженное страхом — когда однажды я пришла после прогулки с разбитой головой. Да, и еще презрительное, холодное — когда она увидела на моей груди пионерский значок. И искаженное ненавистью — когда...

Вот кошмар, какие мелочи вспоминаются!

Я не могла упрекать ее.

И не спрашивала себя, почему.

Я взяла руку Матери. Узкая, жилистая ладонь с тонкой и сухой как бумага кожей. И теплая. Удивительно теплая. Я не прикасалась к Матери с детства.

Держа Мать за руку, я подвела ее к окну. И так, рука об руку, мы стояли и смотрели на улицу. Я еще не сказала Матери, что не оставляю ее. Но она уже это знала. Так же, как мы обе знали, что этот миг близости не сможет сломать мощную стену

непонимания, которая воздвигалась годами. Не сможет уничтожить сделанные нами ошибки. Не сможет стереть чувство обиды и разочарования. И что завтра, вполне вероятно, все начнется сначала или, точнее говоря, будет продолжаться. Почти так, словно этого вечера вовсе не было.

Я не знала, что скажу Дайнису. Что будет с нами обоими. И с тем существом, которое, возможно, начало сегодня жить во мне.

А пока что мы с Матерью стояли в сумраке комнаты и смотрели на освещенные окна в домах напротив, и думали о том, сколько разных людей живет за этими окнами. И как они справляются со своей жизнью.

Я все еще не отпускала ее руку.

* * *

Прочтя эти записки, я, хотя и не очень пылко, попыталась выяснить, что случилось с их автором. Тщетно. Как говорят в народе, ее и след простыл. Скорее всего, она затерялась где-нибудь в новых районах.



Зимний пейзаж.

Фото Роланда Фогта



ДАЙНЫ

Перевел Феликс СКУДРА

ПОДГОНЮ КОНЯ К ПОРОГУ

Пряником эстонским полем
Своего коня пускаю:
В доме матушки-эстонки
Хороши собою дочки.

* * *

То березы белые
У забора светятся?
Не березы белые,
А мечи каленые:
Братья бьются, рубятся
За сестрицу-девицу.

* * *

Все вились поблизости
Два залетных сокола
И во льну сграбастали
Нашу куропаточку.

* * *

Золотая трясогузка,
Плача, ходит по болоту:
Знает, соколы слетелись,
За кусточками таятся.

* * *

Убегай в сарай, наседка,
А не то ошиплет сокол.
В дом беги, краса девица,
А не то укатят сани.

* * *

Брат, паси сегодня стадо,
Не останешься внакладе:
И венок себе добудешь,
И плетельщицу поймаешь.

* * *

Наказал своей сестрице
Не водить коров далёко:
Увидал я, за горюю
Два соколика летали.

* * *

Проводи-ка, братец милый,
Я не смею в путь пускаться:
Сеют рожь чужие люди
По краям большой дороги.
У меня венок отнимут,
Белой шерсти покрывало¹,
Белой шерсти покрывало,
Отберут мою лошадку.
Мой венок сестре подарят,
А служанке покрывало,
Запрягут мою лошадку,
Боронить погонят в поле.

¹ Латышский женский убор.

* * *

Веселись, моя ватага,
Здесь в избе одни девицы!
Подгоню коня к порогу,
Ту возьму, что всех статнее.

* * *

Поскакал дорогой долгой,
Брал богатую добычу:
Захватил льняную пряжу,
Захватил девицу-пряжу.

* * *

Ах, сестра моя, сестрица,
И куда же ты пропала?
На тропинке не нагнал,
В поле нашем не увидел.

* * *

Старику скажу спасибо,
Научил лихому делу:
Научил ловить девицу
Спозаранку в день туманный,
Спозаранку в день туманный
На горе, где подмаренник!

* * *

По горе травой красильной
За красой девицей крался;
Не поймал, свалился в яму,
А она меня мотыгой!

* * *

Вот подойник, вот веночек
У ключа на травке.
Где же девушка теперь,
Шедшая по воду?

* * *

И роса, и мгла густая
Мне добра сулили мало:
Мгла чужого укрывает,
А роса следы укажет.

* * *

Залетел в усадьбу сокол,
Я за соколом вдогонку.
Сокол курицу уносит,
Я — красавицу девицу.
На день курица тому,
А моя навек добыча!

* * *

На три ночи убежала
На лебяжий островочек:
Мать такую молодую
Обручить меня хотела.

* * *

В жены парень взять желает,
Да от брата нет согласия.
Говори, что выкрал, парень,
Прибегу к тебе украдкой!

* * *

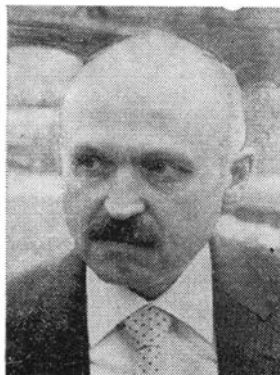
Дочь чужую не крадите,
Силою не забирайте.
Если силою забрали,
Та на свете не жилица.

* * *

— Где росла, краса девица?
Я нигде тебя не видел.
— У родимой за оградой
Розы красные полола.
Где ты рос, пригожий парень?
Не встречался мне ни разу.
— Я в усадьбе рос у брата
В стороне чужой, далекой,
В стороне чужой, далекой,
Возле моря голубого.
Подрастай, краса девица,
Назову тебя невестой,
Увезу тебя в усадьбу
Возле моря голубого.



¹ Трава, которую использовали для крашения пряжи.



РАСТРЕЛЯННЫЕ ЗВЕЗДЫ

Рассказ

Александр ЧЕХЛОВ живет и работает в Риге. Его рассказы и стихи публиковались в журналах «Нева», «Урал», «Даугава». В 1981 году в издательстве «Лиесма» вышел его сборник прозы «Глухарь».

Сегодня мы предлагаем читателю два новых рассказа А. Чехлова. Один — о последних днях трагической жизни маршала Тухачевского, другой — о более давнем событии — о петровских временах. В полном смысле слова — это не документ прошлого и не художественная проза в то же время. Точнее всего жанр обеих публикаций можно было бы определить как реконструкция. Жанр не новый, но любимый читателем, поскольку основывается на множестве действительных фактов и живых именах истории. Нелегкая добыча этого материала, сопоставление и осмысление его — все это стало настоящей страстью автора, дающего нам свое, сегодняшнее представление о судьбах и событиях, которые мы знаем лишь в хрестоматийных чертах.

У следователя по особо важным делам была самая заурядная и, можно сказать, малосимпатичная внешность. Он был небольшого роста, вертляв и суетлив. Наверно, ему иногда хотелось казаться значительным, он напускал на себя важность, но она не шла к его невзрачному лицу с мелкими, словно бы стертыми чертами.

Несмотря на такую наружность, следователь был мастером своего дела. А может быть, его внешность помогала ему в его нелегком ремесле. Наверно, люди, которых ему приходилось допрашивать, поначалу не принимали его всерьез, а потом, по прошествии некоторого времени, когда они спохватывались, было уже поздно.

У следователя как работника имелся, пожалуй, только один недостаток — крайне неразборчивый почерк. Даже свою фамилию он ухитрялся написать так, что приходилось гадать — то ли это Голубев, то ли Палубов или вообще Толубеев какой-то... Но в остальном он был мастером высокого класса.

Конечно, умение пришло к нему не сразу. Набив себе руку на мелкой сошке, разного рода вредителях, следователь особенно выдвинулся на двух процессах, в августе тридцать шестого и в январе этого, тридцать седьмого года.

Органам удалось выявить два подпольных троцкистских центра: первый, с Зиновьевым и Каменевым во главе, давно зарекомендовавшими себя штрейкбрехерами революции, и второй, параллельный, который возглавляли Радек и Пятаков. Последний был заместителем наркома тяжелой промышленности. Жаль товарища Орджоникидзе. Узнав, какие делишки проворачивал его главный помощник, Григорий Константинович слег. Большое сердце его не выдержало такого удара...

Жаль, что не удалось привлечь к ответственности, поставить к позорному столбу главного заправилу этой шайки — обершпона Иудушку Троцкого, которого несколько лет назад выдворили из страны. «Поторопились», — будто бы сказал по этому поводу товарищ Сталин.

Согласно указанию великого вождя и учителя классовая борьба по мере продвижения к коммунизму будет обостряться еще больше. В самих органах выявлен подлый предатель Ягода, следствие по делу которого еще не закончено.

Укрепив свои ряды, органы раскрыли новый заговор против революции.

В разное время были арестованы восемь военных из числа высшего командного состава. Собственно, их могло быть и девять, но девятый, начальник политуправления РККА и замнаркома обороны Гамарник, застрелился в своем рабочем кабинете — очевидно, в предчувствии провала.

Среди арестованных был даже один маршал — Тухачевский. Он-то и представлялся главной фигурой в начавшемся процессе. Его арестовали в конце мая, когда улики набралось больше чем достаточно.

Дело Тухачевского поручили вести следователю по особо важным делам — тому самому, с плохим почерком, и он был горд оказанным ему доверием.

— Главное — это выявить связи между обвиняемыми, — поучал, наставлял следователя новый нарком внутренних дел Николай Иванович Ежов. — И, конечно, установить мотивы. Мотивы предательства...

Он вкратце объяснил, по каким причинам подследственные вошли в заговор. Они, эти заговорщики, считают себя обиденными и обиженными. Возьмем, например, Тухачевского. Он, будучи заместителем товарища Ворошилова, стал относиться к своим обязанностям с прохладцей, увлекся заграничными вояжами. В прошлом году он съездил в Англию, на похороны короля Георга V. Конечно, там он имел встречу с военным атташе Витовтом Путной, своим давним приятелем еще по Пятой армии. Путну после августовского процесса тридцать шестого года отозвали и взяли под стражу — оказалось, что он давний связник троцкистов... Тухачевский и в этом году хотел съездить в Англию, на коронацию нового монарха, но этот фокус у него не вышел. Его понизили в должности, назначили

командующим округом. Тогда еще были некоторые сомнения в его причастности к заговору... А возьмите Уборевича с Якиром. Они же спят и видят во сне маршальские звезды! А начальник военной академии Корк. Этот, с позволения сказать, полководец не устает повторять на лекциях, что идея обхода через Сиваш на врангелевском фронте принадлежит ему, а отнюдь не Фрунзе, который, дескать, и пожал в итоге все лавры... Этот самый Корк свои выдающиеся способности полностью выявил на польском фронте, когда от его армии осталось только несколько эскадронов. Что в этой связи можно сказать об Эйдемане? Пост председателя Осоавиахима кажется ему, видимо, насмешкой над его способностями военачальника. Остальные — Путна, Фельдман и Примаков — пониже рангом, у них и поменьше амбиций, но их ни в коей мере не следует недооценивать. Возьмите, допустим, Фельдмана. Его пути с Тухачевским и Уборевичем сплелись еще во время антоновщины...

— А потом Фельдман, кажется, был начальником штаба на Дальнем Востоке? — вставил следователь, когда нарком остановился, чтобы перевести дух и выпить чаю, который стоял у него на столе (пристрастился к чаю, когда гонялся за басмачами). Рядом с неказистым, невзрачным следователем нарком выглядел писаным красавцем: черные как смоль волосы откинута со лба, глаза вдохновенно горят, незапятнанной белизны гимнастерка туго перетянута ремнем с портупеей. На гимнастерке ярко рдеют звезды, она словно усыпана звездами: одна пришита на рукаве, другие привинчены на лазоревых петлицах... Питерский паренек, участник штурма Зимнего и комиссар в гражданскую войну, он добрался до сияющих вершин власти и могущества.

— Так точно, — ответил Ежов на вопрос следователя. Он оставил стакан в сторону и задумался. — Тут вот что интересно... Уборевич, бывший тогда главкомом, остановил армию в девяти верстах от Владивостока. Тем самым он дал возможность интервентам благополучно погрузиться на корабли и отплыть восвояси. Сам он объяснил остановку тем, что хотел избежать вооруженного столкновения с японцами... А японцы за это самое время успели еще двух рабочих сжечь в паровозной топке!

Следователь слушал, затаив дух. Общеизвестные, казалось бы, факты оборачивались сейчас неожиданной стороной, представляли в новом свете. Он чувствовал себя так, словно бы у него пелена спала с глаз...

— Постарайтесь закончить расследование к 11 июня, — сказал под конец нарком. — Помните, что на дела подобного рода полагается не более десяти дней! Вам будет оказана необходимая помощь...

И в довершение всего рассказал, что уже намечен вчерне состав трибунала (или, как он будет официально именоваться, Специального судебного присутствия Верховного суда). Пред-

седателем будет, как и на прошлых процессах, товарищ Ульрих, членами трибунала назначены маршалы Буденный и Блюхер, а также замнаркома Алкснис и начальник Генерального штаба Шапошников. Видимо, пригласят еще двух или трех командующих округами.

Следователь был горд, что именно ему поручили вести дело маршала Тухачевского и его группы. Но если бы он знал, что его ожидает, он бы навряд обрадовался.

Следователь устал, как никогда. Он совершенно вымотался. Иногда ему казалось, что это не он ведет следствие, а допрашивают его самого...

Но теперь, слава богу, все как будто заканчивалось — и заканчивалось благополучно. Главный обвиняемый стал наконец подписывать свои показания. И самое главное — следствие укладывалось точно в срок, отпущенный руководством.

Подведение итогов выглядело следующим образом.

Следователь суетливо, по своему обыкновению, перекладывал бумаги с места на место, копошился в них, как будто что-то отыскивая, потом начинал покручивать пресс-папье, катал по столу карандаш. А радость так и сияла в его узеньких глазках, и только ледяные стеклышки пенсне не давали ей выплеснуться наружу.

Напротив него сидел, полуприкрыв веками воспаленные глаза, седой, измученный, но все еще красивый человек в гимнастерке без ремня, с оборванными петлицами, на которых еще совсем недавно были маршальские звезды. Казалось, что воля бывшего маршала сломлена. Движения его были замедленны, как во сне. Он как бы нехотя перелистывал страницы; на некоторых листах видны были ржавые пятна, словно от сырости (на одном из допросов у обвиняемого пошла кровь из носа). Полагалось, прочитав страницу, поставить в конце ее подпись.

К этому времени у следователя с обвиняемым установились вполне доверительные отношения. Следователь называл бывшего маршала по имени-отчеству — Михаил Николаевич, а тот в свою очередь... Как же он называл следователя? А никак. Он умудрялся избегать прямого обращения, очевидно рассматривая своего мучителя как некое абстрактное лицо, и, похоже, привык к нему, как привыкают к необходимому злу.

Неожиданно обвиняемый поднял глаза на следователя — словно стегнул взглядом, и тот от неожиданности даже отпрянул.

— Что такое, Михаил Николаевич? — обеспокоенно спросил он.

— Я могу отвечать только за себя, — твердо и решительно, как и подобает маршалу, ответил Тухачевский. Он захлопнул дело и равнодушно отодвинул его в сторону. — Да, только за себя, — равнодушно повторил он.

Следователь испугался, что все начнется сначала. Он уже с замиранием сердца представил, какие громы и молнии будет метать начальство... И он послушно вычеркнул из протокола вопроса те имена, на которые указал маршал. Теперь следователь и в мыслях не называл его бывшим, как однажды он заикнулся было во время допроса. («А вот это, позвольте заметить, не вам решать, а суду», — ядовито последовало в ответ.)

А началось все это следующим образом — как обычно, довольно издали, неторопливо и подробно.

— Год и место рождения? — спросил следователь, не отрываясь от протокола, куда он в это самое время сноровисто заносил хорошо ему известные фамилию, имя и отчество обвиняемого. Правда, он старался сдерживать свою руку, писал не столь размашисто, как обычно, но все равно у него выходило не особенно вразумительно. Впрочем, фамилия подследственного вышла без искажений, а на обложке дела она была выведена даже печатными буквами.

Маршал сидел в глубокой задумчивости. Следователь, оторвавшись от протокола, настороженно навел на него стекла своих пенсне — то они вспыхнут попеременно, то опять потянет холдом от их черных провалов.

— Итак? — напомнил следователь.

Маршал словно очнулся.

— Неужели у вас нет моих анкетных данных? Впрочем... Иногда мне и самому кажется, будто вместо меня в моей оболочке кто-то другой. Какое-то наваждение, дурной сон... А родился я, да будет вам известно, в девяносто третьем году. Естественно, девятнадцатого столетия... И, как ни странно, именно в Смоленской губернии. Видите, вы уже и сами это написали. Отец мой — из дворян, можно сказать, нетрудовой элемент, а мама — крестьянка. Что, не верите? Все, я вас уверяю, именно так. Ну-с, что там у вас далее? Вероисповедание?

— Не надо так торопиться. — Следователь отложил перо и вытер платком лоб. — У нас еще есть время... Почему вам так весело? Я бы на вашем месте... Что же касается ваших убеждений, то они меня в данном случае не интересуют.

— Это почему же? — воскликнул маршал. — Я член Коммунистической партии с восемнадцатого года. Занесите это в свой протокол...

— Увы! — мягко и даже как-то сожалеюще возразил следователь. — Сейчас это уже не имеет значения.

— Вы ошибаетесь. Иногда членский билет в кармане еще не дает права называться коммунистом, так же как и его отсутствие не лишает этого права.

Следователь вздрогнул от этих слов, но быстро овладел собой и, чтобы скрыть смущение, снял пенсне, подышал на стекла и принялся тщательно протирать их платком. Лицо его сразу же сделалось подслеповатым и добродушным, пожалуй даже

беззащитным каким-то... Зная за собой это качество — менять облик, он склонил голову — время работать на контрасте еще не наступило... Он словно бы приберегал этот момент на будущее, справедливо полагая, с учетом характера и личности обвиняемого, что такой момент скоро наступит. И только опять прицелившись в пенсне на переносице, он сказал:

— Оставим софистику... Возможно, вы и правы. Но меня в данную минуту интересует знаете что? Ваш чин в царской армии.

Маршал внимательно посмотрел на следователя и усмехнулся.

— Эк вы копаете... Нужно отдать вам должное — стараетесь на совесть, роете мне яму по первому разряду. Впрочем... Если угодно, я был в свое время подпоручиком лейб-гвардии Семеновского полка. Помните, как это у Пушкина? «Потешный полк Петра-титана, дружина старых усачей, предавших некогда тирана...» Ну, и так далее.

— Не читал, — пробормотал следователь.

— Ничего, еще прочтете. Все у вас впереди... А у нас получается любопытный разговор, вы не находите? Словно бы вечер воспоминаний... Ну, ладно. Далее, значит, так. С началом мировой войны я отбыл в окопы, для защиты веры, царя и отечества.

— Это нам известно, — отозвался следователь. Он помедлил и вдруг пренебрежительно, как бы невзначай бросил: — Так же как и то, что вы сдались в плен...

Удар был рассчитан точно.

— Ну, знаете! — возмутился маршал. — Я не сдавался, это вы бросьте... Меня взяли в плен — а это разные вещи. Совершенно разные.

— Разве?

— Меня взяли в плен — сонного, в блиндаже, — упрямо повторил маршал.

— Хорошо же вы воевали за царя и отечество! — засмеялся следователь. — За бедную матушку-Россию... Да-а, видать, с караульной службой у вас в полку было ни к черту, — задумчиво подытожил он. — И это белая гвардия!

Маршал промолчал, но краска бросилась ему в лицо.

Ему вспомнилась та страшная ночь в феврале пятнадцатого, когда он, сменившись с дежурства, безмятежно заснул в блиндаже. Ему не мешала спать бушевавшая снаружи метель. Она будто выбивалась из сил, эта последняя зимняя вьюга, стонала и выла. Кто мог подумать, что немцы в такую непогоду решатся на прорыв? Но они, обойдя с тыла позиции русских, молча, без крика бросились в атаку. Во тьме и снежном вихре началась рукопашная... Легко ли, проснувшись, увидеть приставленный к горлу вражеский штык, плоский, отточенный как бритва?

— Ладно, — изображая великодушие, махнул рукой следователь. — Дела давно минувших дней... Знаю я эту немчуру. В восемнадцатом под Нарвой я командовал ротой...

— О, это делает вам честь, — похоже, даже удивился маршал.

Следователь зарделся. Даже в такой ситуации похвала маршала значила многое. И следователю захотелось рассказать, как около суток почти одними штыками отбивались они от немцев, как он был ранен в руку, но продолжал командовать, и еще многое другое, и ему стоило немалых усилий, чтобы удержаться себя от разговоров, не относящихся к делу...

Допрос продолжался. Следователь снова настроился на нужную волну:

— Пропустим ваши злоключения в плену. Хотя постоите... Одного я только не возьму в толк. Как это вам после четырех неудачных попыток все-таки удалось бежать?

В его голосе маршалу послышались нотки неподдельного интереса.

— Как вам сказать, — пожал он плечами. — Наверно, я везучий... Разумеется, сегодняшняя ситуация не в счет.

— А ведь вам, как пленнику, склонному к побегам, — продолжал развивать свою версию следователь, — вам с каждым разом должны были ужесточать режим — вплоть до лишения кандалов... Наконец, вас ненароком могли даже пристрелить при очередной попытке к бегству. Так сказать, избавить себя от беспокойства... И что же? Вас выводят на прогулку по альпийским лугам — заметьте, почти без конвоя. Правда, под ваше честное слово, что вы не убежите... Ведь так?

— В самом деле...

«Откуда им известны такие подробности? — удивился маршал. — Они хорошо подготовились... Но куда же он клонит?»

— И вот вы, дворянин, — продолжал гнуть свое следователь, — вы, гвардейский офицер-семеновец, вероломно нарушаете данное вами слово чести и — тю-тю! — убегаете... Как же так? Согласитесь, здесь что-то не то. Не укладывается как-то. Вы — и вдруг такой беспардонный обман. Неувязочка получается. А?

— Да, пожалуй, — смутился маршал. — В самом деле... Но, я думаю, — встрепенулся он, — когда имеешь дело с врагом, хороши все средства. Почти все, — поправился он. — Поэтому... рассматривайте в этом смысле мое честное слово, то есть обещание не убежать, как военную хитрость.

— Вот как? Что ж, это резонно. Действительно, когда имеешь дело с врагом... Это вы правильно выразились. И все-таки... Очень, — понимаете? — очень мне ваш побег сомнителен.

— Что вы имеете в виду?

— А имею я в виду вот что. Не был ли устроен ваш последний побег с некоей определенной целью?

Следователь замер. Он даже привстал со стула, вытянулся и затаил дыхание, как охотник, подстерегающий добычу.

Вот оно что, подумал маршал. Началось... Наверное, у него еще кое-что в запасе, а это, видимо, пробный шар. Ишь ты, чего

удумал. Шалишь, брат... Ладно. Сейчас главное — не поддаваться панике, разбивать его домыслы по частям. Как на поле боя...

— А знаете, ведь все это уже было, — сказал маршал.

— Что именно? — с недоумением вскинул свои бровки следователь.

— Примерно такая же ситуация.

— Вот как? Любопытно... Когда же и с кем?

— Представьте себе, с товарищем Лениным.

— Не кощунствуйте!

— Да вы меня не поняли... Я вот о чем. Помните, когда Владимир Ильич вернулся из эмиграции, в семнадцатом? Ну да, в plombированном вагоне. Тогда тоже пошли слухи: неспроста, мол, это... Наверняка Ленин — германский шпион. А теперь вот и вы меня подведете под этот, если можно так выразиться, тезис. Ну что же, такой аналогией я даже польщен. Весьма и весьма! Благодарю вас. — И маршал наклонил голову в знак признательности. И тени улыбки не было на его по-девичьи нежно очерченных губах, но его серые со стальным отливом, слегка навывкате глаза блеснули откровенной насмешкой.

Следователь дернулся, как будто обжегся. Долго смотрел на маршала и молчал. И, против своего обыкновения, обеими руками ерошил волосы на висках.

Да, орешек на этот раз ему попался твердый. И где-то в глубине души у следователя шевельнулась тревога: а вдруг он, этот самый орешек, окажется не по зубам?

Потом допрос продолжался — изо дня в день, а то и ночами. Под конец чаще всего ночами. Допросы перемежались очными ставками, так что скучать не приходилось. Маршал радовался очным ставкам, хотя на них поговорить со старыми товарищами удавалось, лишь отвечая на вопросы следователя. Они все держались молодцом — и Уборевич, близоруко, у самых глаз державший протокол допроса (у него отобрали очки после того, как он в камере попытался стеклышком вскрыть себе вены), и Корк, с его подчеркнута выпрямленной спиной (это о нем своеобразно, хотя и жутковато сказал кто-то: «Прямой, как скелет»...), и Эйдеман, с его затвердевшим невозмутимым лицом, на котором нет-нет и проступали крутые желваки... Один Якир отказался отвечать на вопросы, требуя, чтобы о нем немедленно доложили товарищу Сталину. С ним повозились немного, попробовали убедить, что Иосиф Виссарионович занят массой других неотложных дел, но Якир стоял на своем, и от него отступились...

Но во всем, что происходило потом, уже ничего не было нового.

Тот пробный шар, который подбросили маршалу, облипал со

всех сторон новыми и новыми подробностями и в конце концов превратился в тяжелую глыбу.

Все было против маршала и его товарищей. Любой эпизод их жизни, даже самый, казалось бы, незначительный, оборачивался в руках следователей и его помощников неожиданной стороной.

Один из дней был целиком посвящен событиям на польском фронте. Тут — в который уже раз! — скрестились пути Тухачевского и Льва Давидовича Троцкого, председателя Реввоенсовета республики, наркомвоенмора и члена Политбюро.

Троцкий прибыл на Западный фронт неожиданно и оставался при штабе довольно длительное время.

Насколько можно было судить по его отдельным высказываниям, наркомвоенмор в военном отношении был сущим дилетантом. Он, к счастью, не особенно вмешивался в распоряжения командующего. Иногда он сутками не выходил из салон-вагона, прицепленного к бронепоезду, — на него находила хандра. Потом он вдруг загорался, начинал метаться по полкам и дивизиям, собирал митинги в самые неподходящие моменты (один раз даже под огнем аэроплана), произносил речи о мировой революции, судорожно подергиваясь на трибуне, наскоро сколоченной из остатков сарая, путался в длинных полах кавалерийской шинели. Под выцветшей звездой на буденовке глаза его горели лихорадочным огнем. Троцкий был возбужден: наконец-то осуществлялась его давняя, выстраданная идея — перенесение войны на территорию врага, в духе лучших традиций Великой французской революции...

От него нельзя было отмахнуться — и в то же время его с трудом можно было принимать всерьез. Погрозив кулаком сидящему аэроплану противника, Троцкий продолжал выкрикивать о том, как лучше подготовить отделенных командиров или о том, как бороться с вошью. «Солдат с вошью — не солдат, а полсолдата, — вопил он. — Его внимание раздвоено, его воля ослаблена. Не сознавая того, он чувствует себя связанным...» Бойцы втихомолку посмеивались. Вошь, конечно, тоже проблема, но нельзя же все валить в общий котел!

Между тем наступление развивалось мощными темпами, до Варшавы оставался, казалось, всего один стремительный бросок. Белопольяки в панике бросали свои позиции... «Даешь Варшаву!» Но армии Западного фронта уже исчерпали свои резервы и выдыхались.

— Ничего, справимся своими силами, — беспечно ответил Троцкий, когда командующий фронтом высказал ему свои опасения. — Вы, Михаил Николаевич, не учитываете революционный порыв и энтузиазм наших бойцов...

Но через некоторое время и он забеспокоился, забил, что называется, во все колокола. Резервы, как воздух Западному фронту необходимы были резервы. Откуда их взять? Не оставалось иного выхода, как за счет соседнего Юго-Западного фронта.

Но тут-то и нашла коса на камень.

Для того, чтобы передать Конную армию в распоряжение командующего, целью которого была Варшава, потребовалось кроме директивы главкома решение специального Пленума ЦК. Вот до чего дошла строптивость командования Юго-Западного фронта! Собственно, не всего командования, а одного из тамошних членов реввоенсовета, без подписи которого не был действителен ни один приказ. Этот член РВС был не кто иной, как товарищ Сталин, уже в то время не ладивший со Львом Давидовичем. Иосиф Виссарионович не желал, как ему представлялось, таскать каштаны из огня для своего заклятого недруга... Всеми правдами и неправдами он попытался удержать буденновцев у себя. Уперся -- и ни в какую! Вот его возражение, ставшее печально известным:

«Последняя директива... без нужды опрокидывает сложившуюся группировку сил в районе армий, перешедших в наступление. Директиву эту следовало бы дать, когда Конармия стояла в резерве, либо позднее, по взятии Львова. В настоящее время она только запутывает дело и неизбежно вызывает ненужную, вредную заминку в делах и интересах новой перегруппировки. Ввиду этого я отказываюсь подписать соответствующее распоряжение...»

Эх, Иосиф Виссарионович! Тогда обошлись без его подписи, а самого, по настоянию Ленина, сразу же отозвали с фронта. Но время, дорогое время было упущено. Конармия уже успела ввязаться в ожесточенные бои за обладание Львовом, где бесплодно потеряла много сил на укрепленных позициях врага. Эти бои засосали армию...

В конце концов, бросив «львовскую приманку», Конармия пошла рейдом на Замостье. Но это произошло уже в то время, когда армии Западного фронта откатывались назад, истекая кровью...

Красный фронт имел возможность выполнить поставленную ему партией задачу, но он ее не выполнил. Да, виновата стратегия. Тяжело воевать, к тому же не имея резервов. И все-таки... И все-таки! Как близко были стены Варшавы...

Эта история окончилась тем, что на одном из совещаний Ленин подвел Тухачевского и Егорова, бывших командующих Западным и Юго-Западным фронтами, вместе с главкомом Сергеем Сергеевичем Каменевым к карте и воскликнул: «Вы посмотрите! Ну кто же на Варшаву ходит через Львов? Вы били по неприятелю растопыренной пятерней, а следовало все силы собрать в кулак. Это же азбука...»

Ну что ж. Командующий Западным фронтом не снимал с себя вины. Но только ли он один виноват в неудачном исходе войны с белополяками? О, нет. Давайте разделим ошибки поровну...

Товарищ Сталин вскоре сделался генеральным секретарем ЦК. Конечно, он был достоин этого высокого поста, потому что заслуг у него насчитывалось больше, чем недостатков. К кому

же еще было обращаться бывшему командзупу (так сокращенно именовалась должность Тухачевского на польском фронте), против которого развернулась целая кампания нападок и подлинной травли? Просьба была одна — защитить... Увы, ответа на просьбу не последовало. Бывший член РВС Юго-Западного фронта оказался чувствительным к личной славе и не любил, когда ему напоминали о его прошлых промахах и ошибках.

И вот теперь в истории гражданской войны прочно фигурирует командующий-неудачник, который совместно с Троцким сорвал «марш на Варшаву»... Ну, и так далее. Что тут возразить и кому?

На следствии никто не вспоминал об успехах Тухачевского. А вот его неудачи, даже самонаименьшие и случайные, вытаскивали на свет божий, и теперь их анализировали под определенным углом, а потом из всего этого делались далеко идущие выводы.

Особенно радовало следователя, когда удавалось, пусть и косвенно, привязать к делу Льва Давидовича Троцкого. Разве не по его указке (читай — в угоду ему) Тухачевский предпринял первый, закончившийся неудачей, штурм мятежных фортов Кронштадта? Если бы не вмешательство делегатов X партсъезда во главе с товарищем Ворошиловым, и второй штурм не принес бы успеха. Делегаты бросились на кронштадтский лед, увлекая бойцов за собой, и революция была спасена.

Боевая деятельность Тухачевского, по сути, была перечеркнута.

Но ведь это же он, в числе первых пяти самых выдающихся военачальников, получил звание маршала! Их, первых маршалов, принял товарищ Сталин в своем кабинете. В один из моментов Сталин подошел к столу и принялся набивать свою трубку, высыпая табак из папирос, которые он ломал одну за другой и бросал в пепельницу. Все следили за его точными, выверенными движениями как замороженные... Почему-то из всей встречи запомнился сильнее всего именно этот момент. А вот теперь подумалось: так же легко, как папиросу, можно сломать и чужую судьбу.

И странное видение встает перед глазами, и невозможно от него отвязаться. Кажется, что в пепельнице у товарища Сталина горой навалены трупы его врагов с переломанными, по азиатскому обычаю, позвонками...

Значит, все перечеркнуто.

К делу, помимо прочего, в качестве, что ли, косвенных улик приобщены книжонки буржуазных писак, в которых красному маршалу приписана непомерная склонность к самовозвеличанию, чуть ли не к бонапартизму... Все пошло в ход! Одну из таких книжонок предъявили обвиняемому. Там бойким слогом излагалось следующее:

«Имя победителя Колчака знала теперь уже вся армия и партия. И щуря темный монгольский глаз, читая победные репортажи, Ленин говорил в усмешке:

— А гвардеец-то молодец! Настоящий полководец. Как вы думаете, Иосиф Виссарионович, он у нас, чего доброго, еще Наполеоном станет, а?

И, задумавшись, добавил угрюмо и угрожающе:

— Ну, мы-то с Наполеонами справились!»

Маршал с любопытством полистал книжонку, закрыл ее и со вздохом отбросил.

— Наврано тут все... Колчака добивал не я, а Эйхе. Генрих Христофорович Эйхе. (Еще одна связь, обрадовался следовательно...) А меня перебросили на Кавказский фронт, против Деникина. Вот его-то я и добивал.

— А ведь и вы, Михаил Николаевич, частенько допускали недозволенные приемы, — однажды огорошил его следователь.

— То есть как это? — оторопел маршал.

Следователь хитро сощурился. Казалось, еще немного — и он замурлыкает от удовольствия.

— Поясню. Помните, в январе тридцать пятого вы поместили в «Правде» статейку под названием «На Восточном фронте?»

— Ну и что же?

— А то, что вы в этой самой статейке ошельмовали людей, преданных Советской власти, а именно — бывших командующих Восточным фронтом Самойло и Ольдерогге. Вы назвали их выживенцами Троцкого!

— Я сожалею об этом, — прошептал маршал.

Да, он тогда перешел дозволенные границы полемики, погорячился. Но ведь никаких вредных последствий из всего этого не вышло! Ольдерогге, правда, уже ничего не грозило — он к тому времени скончался. Но вот Самойло... Бедный Александр Александрович! Он чуть не плакал в кабинете у Ворошилова: «Ну какой же я троцкист?» Еле его успокоили. До сих пор не по себе от этой истории...

— Я сожалею об этом, — повторил маршал.

...Заседание трибунала, назначенное на 11 июня, откладывать причин не было. Оно состоялось точно в намеченный срок.

Подсудимых вводили в зал по одному и усаживали рядом друг с другом на длинной скамье, напротив стола, за которым разместились члены трибунала. Глаза в глаза... Двери для посторонних были закрыты, ввиду возможной утечки сведений, представляющих военную и государственную тайну.

Заседание открыл председатель трибунала армвоенюрист Василий Васильевич Ульрих, лысоватый, с младенчески розовым личиком, на котором казалась приклеенной щеточка усов — малозаметная чиновная личность, но блестящий знаток юриспруденции, чем, кстати, не отличались члены трибунала. А ведь кому-то надо следить за тем, чтобы соблюдались известные

формальности! Ульрих и следил за этим, причем весьма добросовестно.

Началось слушание материалов дела.

Маршал сидел как раз напротив Блюхера, старины Блюхера, но Василий Константинович сейчас почему-то прятал глаза, отводил их в сторону. Рядом с Блюхером сидел Буденный, он то и дело тяжело вздыхал, раздувая усы, как бы поражаясь всему увиденному и услышанному. А у Шапошникова его доброе лошадиное лицо от недоумения, казалось, вытянулось еще больше... Лохматый, заросший до глаз Дыбенко запустил пятерню в свою бороду и как будто покушался ее выдрать.

Тухачевский разглядывал лица своих боевых товарищей, и смысл слов, которые произносил председатель трибунала, проходил мимо его сознания.

Что-то нереальное было в том, что происходило сейчас.

Нет, все, что происходило сейчас, просто недоразумение, подумал маршал. Может быть, даже — почему бы и нет? — жестокая, но необходимая проверка. И он ухватился за эту свою спасительную мысль, чтобы не дай бог не сойти с ума...

Но что это с Блюхером? Он поминутно трогает ворот своей гимнастерки, как будто ему вдруг стало трудно дышать. А может, он проверяет, на месте ли его маршальские звезды? В его жизни был один опасный момент — в двадцатом, на врангелевском фронте, когда он выслушал негодующий разнос от самого Фрунзе, под конец посулившего самые жестокие репрессии: подумать только, до сих пор не взят Турецкий вал! Тогда от Перекопа била картечь, а Блюхер, опальный начдив-51, с винтовкой в руках торопился занять свое место в атакующей шеренге красноармейцев...

А председатель трибунала спешит. Куда он торопится? Наверно, сегодня у него много работы? Ульрих спешит, он как будто боится споткнуться — ему некому будет помочь... Без остановки, одним духом Ульрих прочитывает приговор. Всем подсудимым приговор вынесен одинаковый по списку — высшая мера. Исключительная мера...

Тухачевский сделал протестующее движение, хотел что-то сказать, но конвойные уже встали у него по бокам.

— Увести осужденных, — приказал председатель трибунала.

И, опустив голову, маршал — опальный маршал! — пошел к выходу. Почудилось ему или на самом деле кто-то простонал у него за спиной?

Но даже теперь надежда не покидала его.

Может быть — ведь все может быть! — все еще переменился? Вот сейчас осужденных вернут обратно, освободят. Может быть, все обойдется? Ведь обошлось же все в восемнадцатом, когда Тухачевского, тогда командарма-1, выпустили из заграженного трюма бывшей царской яхты, куда он был заперт по

приказу безумного авантюриста Муравьева, командующего Восточным фронтом...

Дверь камеры со скрежетом затворилась, и маршал остался один.

Он огляделся, как будто попал сюда впервые, хотя внутренность камеры была знакома ему до мелочей.

Над его головой тускло горела лампочка, окруженная стальной сеткой. Из угла, где стояла параша, едко несло хлоркой; узкое окошечко с толстыми прутьями решетки было под самым потолком — не дотянуться. Стены, грубо заляпанные штукатуркой, хранили следы надписей, несмотря на все старания тех, кто пытался их соскоблить. В надписях не было никакой связи, чаще всего попадалось слово «Передайте», а кому передать и что, уже стало тайной, разгадать которую вряд ли кому-то под силу... В трех местах маршал отыскивал один и тот же рисунок — звездочку с серпом и молотом, но серп больше напоминал знак вопроса. Мучителен был вопрос, и вряд ли найдется на него ответ... Стол и табуретка были привинчены к полу, словно бы во избежание их хищения, а из ниши в стене выдвигались нары, отполированные до блеска боками предшественников.

В массивной двери, оббитой железом, время от времени открывался глазок. Вот и сейчас кто-то заглянул, видимо обеспокоенный шагами по камере. Посмотрел не мигая и отошел...

«Боятся, как бы раньше времени не покончил с собой, — догадался маршал. — Нет, братцы, на это я не способен...»

— Приговор окончательный и обжалованию не подлежит, — вспомнились маршалу заключительные слова председателя трибунала. Вот оно в чем дело! Подсудимых приравнивали к террористам, их судили по Указу от 1 декабря 1934 года, который негодующий и гневный Калинин подписал в день злодейского убийства Кирова. По этому постановлению ВЦИК обязался не принимать ходатайства о помиловании, не рассматривать их, а органам НКВД надлежало немедленно приводить приговор в исполнение... Слова приговора, которым там, во время заседания, не придавалось маршалом особого значения, все-таки запали в сознание, и сейчас память услужливо подсказала: «...Обвиняемые, находясь на службе у военной разведки одного из иностранных государств... систематически доставляли военным кругам этого государства шпионские сведения, совершали вредительские акты в целях подрыва мощи РККА, готовили на случай военного нападения на СССР поражение Красной Армии и имели своей целью содействовать расчленению СССР и восстановлению власти помещиков и капиталистов...»

Нет, не может быть, чтобы все это было серьезным. Тот, кому пришла в голову эта бредовая идея, будет наказан.

Жаль только времени, потраченного здесь впустую... Что-то сейчас подделывает Матэ Залка, генерал Лукач? — подумалось

вдруг маршалу. Наверно — и уж точно! — времени зря не теряет... Вот кому можно позавидовать. Да только ли ему одному! Даже Кулика Григория Ивановича нашли возможность назначить военным советником. Теперь он не кто-нибудь, а генерал Купер. Хм... Упертый хлопек, как выражаются на Украине. Тянет одну и ту же песню: «Когда мы с товарищем Сталиным защищали Царицын...» И как не надоест! Ну, этот-то далеко пойдет... Не остановишь! Ничего, время покажет кто во что горазд.

Может быть, в эту самую минуту головорезы из легиона «Кондор» пикируют на Мадрид. Свастика разбухла от крови. Сначала это была немецкая кровь, а теперь затрещали барьеры границ... Вот где надо находиться сейчас — на передней линии огня. К этому обязывает профессия солдата и долг коммуниста...

Проходили минуты, часы, а может быть, прошла уже целая вечность.

За решеткой, которая отделяла маршала от остального мира, продолжалась жизнь. В Испании генерал Лукач, склонившись над картой при свете керосиновой лампы, уточнял последние детали наступления под Уэской, не предполагая, не ведая о том, что в полдень он будет убит осколком снаряда; в Германии мальчики из гитлерюгенда на своем слете разжигали костры из томиков Гейне; в Токио уже наметили план новой провокации в районе озера Хасан, а пока что самураи-разведчики, зарывшись по горло в песок, наблюдали за сменой советского пограничного поста. В Москве уже начали развозить по магазинам свежий хлеб и молоко. Типографские машины захлебывались от напряжения, выпекая все новые и новые газетные листы. А с газетных полос как морской прибой вздымался праведный гнев: «Никакой пощады изменникам Родины»; «Уничтожить подлую банду фашистских разведчиков»; «Немедленная смерть шпионам» и так далее, десятки, сотни требований — от Академии наук до продавцов гастронома № 32... Поэт Придворов, подписывавшийся псевдонимом Демьян Бедный, свое возмущение выразил в рифму: «Все эти Фельдманы, Якиры, Примаковы, все Тухачевские и Путны — подлый сброд». Все требовали одного — немедленной казни. Неужто и в самом деле у нации временами помрачается рассудок? «Распни его!» — орала толпа еще в древние времена. Толпа орет — безмолвствует народ...

А в этот час в своей камере маршал услышал скрипку. Она звучала так ясно и близко, что он подумал: это играют в тюрьме. Кто-нибудь из караула, сменившись с поста... Но тут же он отбросил это предположение — порядки в тюрьме были жесткие. Ему ни разу не удавалось разговориться с кем-нибудь из конвоя — просто хотелось услышать нормальную человеческую речь после допросов и очных ставок... Солдаты глядели на маршала, не узнавая его, хотя, конечно же, знали его по портретам, и как будто не слышали его вопросов...

Скрипка... Вот и опять ему повезло.

Маршал любил в свободные минуты, которые редко, но все-таки выпадали ему, мастерить скрипки. Вот и сейчас дома осталась отличная заготовка грушевого дерева. Она пошла бы на корпус, а для деки требовалась более плотная, но отнюдь не жесткая фактура — к примеру, ольха или вяз... Специалисты удивлялись, услышав звучание: «Почти как Страдивари!» Вот именно, что почти, сердился маршал, но в глубине души был, конечно, польщен.

Скрипка не замолкала. Оттуда, с воли, она звучала так чисто и нежно, что теперь слышалась почти рядом. Стены камеры раздвинулись и рухнули, погребая под собой и решетки, и нары, и парашу с ее мерзким запахом. Теперь только небо было над головой маршала — небо, усыпанное звездами. Ветер, соленый и резкий, взлохматил его седые волосы. Наступило утро.

В эту ночь маршал так и не смог уснуть. С ним это случалось обычно перед решающей битвой...

Щелкнул замок.

Маршала долго вели зарешеченными переходами; потом спустились в подвал.

Последнее, что он увидел в глубине коридора, за спинами бледных мальчишек-конвойных, у которых карабины плясали в руках, — конная лава разворачивалась к бою. Всхрапывали кони, оскаливаясь, роняя пену с удил, кроваво кося сумасшедшим глазом. И тяжелое полотнище, высвобожденное из чехла, струилось, щелкало на степном ветру, вырывалось из рук знаменосца...

1978

ЗАБЫТАЯ БИТВА

Рассказ

Река Двина (или же Даугава) в своем нижнем течении изобилует островами. Тут их поистине целый архипелаг. Из больших островов выделяются два, оба напротив Московского форштадта (воспользуемся одним из старинных обозначений здешних мест). Это Заячий остров, узкий и длинный, словно бы вытянутый по течению, и остров Луцав (Луцавсала), который кажется массивной глыбой, отколовшейся от левого берега.

На острове Луцав, на его северо-восточной оконечности, есть памятник. Он стоит на небольшом холме и сложен из серого песчаника. На лицевой скрижали еще можно прочесть надпись, потускневшую от времени: «Памяти 400 русских воинов, геройски павших при защите острова 10 июля 1701 года». А на плите слева — корона и вензель Петра I.

Что же произошло на острове около трехсот лет назад? Скупно и как-то неохотно повествуется об этом в немногих источниках. Какая судьба занесла сюда русских солдат, что заставило их стоять насмерть на этом клочке земли?

* * *

Год 1700, впервые исчисленный — не иначе как по наущению дьявольскому! — от генваря месяца (прежде-то, по древнему христианскому обычаю, год всегда начинался от сентября), заканчивался плачевно и тягостно для державы российской.

Остатки русского войска, разбитого шведами под Нарвой, стягивались к Новгороду. Единственная в полном порядке, с оружием и знаменами, отступала гвардия государева — Преображенский и Семеновский полки. Не было только с гвардией ее начальника: генерал-майор Бутурлин Иван Иванович по окончании несчастного сражения взят был неприятелем в полон, прямо из деревянного домика под землею. Вместе с ним взяты были князь Яков Долгорукий да Александр Арчилович, принц Имеретинский... Что касаясь иноземцев, так те почти поголовно отдались на пароль, спасаясь от ярости русских солдат. Разве что один Вейде Адам Адамович доблестно стоял против неприятеля. Раненный из мушкета сквозь левый бок, теперь он тоже в плену, мучается во вражеском лазарете.

Сохранил дисциплину еще Лефортов полк. А остальные шли небольшими кучками или даже поодиночке, безоружные, голодные и оборванные, как бродяги, грабя по пути и без того разоренные нищие деревеньки.

Мимо пехоты, забрызгивая ее грязью, прошмыгивали отряды дворянской конницы, что хоронилась до времени в лесах-урочищах. Конница эта в сражении первая бросилась наутек, увлекая за собою начальника, славного кавалера мальтийского Шереметева Бориса Петровича... Теперь и он торопился к Новгороду, нахлобучив стальной шолом и пряча ото всех глаза, в отчаянии ожидая неминуемого царского гнева.

Нарядными шли к Нарве войска, особливо конница! Все как один на породистых, выхоленных аргамаках, иные даже оду конь. Уздечки серебром выложены, вместо потника — персидский ковер. Всадники же — в атласных кафтанах, лазоревых и карминовых, в парчовых шапках, отороченных собольим мехом. Сколько их потонуло в бурной Нарове — не счесть... Теперь же, кто спасся, — иной без сабли, а кто и в исподнем одном, с дерюжкой на плечах, от непогоды. А звон, за всадником и холоп его сзади пристроился, на крупе.

Встречая нарвских беглецов и как будто уже заранее отпевая их, заунывно бил колокол собора святой Софии. Остальные колокола по высочайшему указу сняли со звонниц: вся артиллерия досталась шведам, а новые пушки лить было не из чего.

Около городского рва копошился народ. Копались рвы, возводились палисады с бойницами, ставились рогатки, как на хищ-

ного зверя. На работах кроме солдат и драгун было множество всякого другого люда и даже лица монашеского звания: кто, подоткнувши рясы, с остервенением долбил мерзлую землю, а иные носились с тачками, как бы в запуски.

Которые прибежали от Нарвы дивились такой суматохе, останавливались в задумчивости и растерянности. Но от городских ворот вмах скакал к ним новый воевода новгородский или же генерал-губернатор князь Репнин Аникита Иванович, из себя невзрачной, даже плуговой наружности, но большого ума и отчаянной храбрости человек. Репнин, сощурясь, вглядывался в угрюмую оборванную толпу, сдерживал своего мышастого конька, который всхрапывал, испуганно пятился от солдат.

— Господин прапорщик! — выкрикивал Репнин, охрипнув на студеном ветру, отчего его писклявый голосишко приобрел неожиданную властность и значительность. — Господин прапорщик, извольте принять под начало сей батальон.

Назначенный командир, оборванный и грязный, по виду мало чем отличавшийся от солдат, выходил из толпы, приказывал. Солдаты сторопливо строились, ровняли ряды. Репнин, объезжая шеренги, строго выкатывал глаза, пошучивал:

— Что, ребятаки, наложил вам Карлуша по первое число?

— Ничего, ваше сиятельство, — ободряясь, кричали солдаты. — Ужо погоди... Накладем и мы ему. — Следовали ядреные словечки и дружный хохот. Мышастый конек Репнина закладывал уши и всхрапывал.

Назначено было государем князю Репнину в самый кратчайший срок исправить и привести в порядок полки, ввавшие в жестокую конфузию под Нарвой.

Забот у генерал-губернатора — не счесть. И усмотреть за всем ох как трудно! Вчера в городе царь встретил две пустые подводы, спросил у возчиков, почему не на работах. Те, оробев, попадали в грязь, божились, что уплатили отступного...

— Какого еще отступного? — нахмурился Петр.

— Как же, по пяти рублей с каждого, — перебивая друг друга, плакались возчики. — Чтобы, значит, подводам у работы не быть...

После короткого розыска нашли: взятки за подводы брал начальник строительной команды Поскочин Елисей, Борисов сын.

— Сукин он сын! — рассвирепел царь. — Чтобы другим неподвадно было — вздернуть!

Вон он, Поскочин, — еще болтается, сердешный, на ветру...

Ощетинился Псков, и Новгород, и Печорский монастырь. Государь поспевал всюду, понукал, подхлестывал и черный люд и начальников. В Печорском монастыре, не застав на работах полуполковника Шеншина, приказал того разжаловать, бить нещадно плетью на крепостном раскате и после всего сослать в полк, в солдаты.

Репнин, смутясь душевно, осмелился возразить:

— Удобно ли, государь? Ведь, как-никак, полуполковник...

Царь тяжело задышал, саданул коню в бок ботфортом. Конь под ним нерешительно переступил с ноги на ногу. Петр в бешенстве рванул поводья, задирая коню оскаленную морду... Репнин на своем коньке-горбунке поник, скукожился. Царь нехотя, сквозь зубы полюбопытствовал:

— За что пожалован сим чином?

— За отличие под Азовом, — промямлил Репнин.

— Гм... — прокашлялся Петр. — Сам-то из каких?

Отмякал вроде бы, добрел... Репнин помялся было, но — делать нечего:

— Стрелецкий сын...

Лицо у царя сморщилось, как от зубной боли. Однако выдавил:

— Ладно... От экзекуции воздержаться.

Мела поземка. На обледенелом плацу солдаты строились в карею, оскальзываясь и сталкиваясь ружьями.

В середине стоял уже полуполковник Шеншин в полной форме, но без шпаги и с непокрытой головой. Треугольную шляпу судорожно стиснул в руке... Двое солдат из караула гауптвахты стояли по бокам, ружья — с примкнутыми багинетами.

Шеншин стоял недвижимо, с мертвенно-бледным лицом. Глаз не подымал... Полуполковник, ха! После Нарвы остался без подчиненных (окромя разве что своего денщика Федьки).

Забили барабаны и тут же смолкли. Репнин въехал в середину строя, вынул из-за красного обшлага мундира лист бумаги и, отворотясь от ветра, развернул. Стал натужно выкрикивать слова, которые тут же подхватывал и уносил ветер:

— Велено было быть ему, полуполковнику, на земляных работах, но там оный не находился...

Все так, все верно. Накануне запил горькую — от стыда... Кабатчик, сволочь, не иначе как подмешал какого-то зелья в вино. И наутро Шеншин, весь разбитый, с чугунной головой, махнул на все рукою... Откуда было знать ему, что в это утро смотрел укрепления сам государь!

— ...и причин достаточных в свое оправдание не представил, — продолжал выкрикивать Репнин.

Какие уж тут причины!

— А посему... по высочайшему повелению... разжаловать в рядовые.

Опять загремели барабаны. Шеншин теперь во все глаза смотрел на князя, как бы не веря тому, что услышал... По знаку Репнина полковой командир Томас Юнгор, из шотландцев, подошел к Шеншину, развязал и снял с него офицерский, с серебряными кистями шарф, сорвал тускло блеснувший нагрудный

знак. Барабаны все били дробь. Шеншин стоял как бы остоленев... Из рядов выбежал унтер-офицер, нахлобучил Шеншину на голову шляпу и, схватив его за рукав, поволок за собой, упирающегося, в шеренгу солдат.

Для бывшего полуполковника служба начиналась сызнова...

Гвардия и лефортовцы, не положившие оружия перед шведом, были обласканы государем. Шереметев, на удивление многим (и самому себе), избежал наказания за свое позорное бегство — напротив, был поименован генерал-аншефом, для поднятия духа войска. И уже 5 декабря было ему приказано «иттить вдаль, для лучшего вреда неприятелю», встречать врага на дальних подступах во главе драгунских и казачьих полков.

Однако же неприятель, кроме мелких отрядов, посылаемых для отыскания продовольствия и фуража, в округе не встречался. Свою армию Карл XII отвел в Дерпт на зимние квартиры. Сам же уютно устроился в замке Лаис, неподалеку от города, развлекался охотой, собираясь по весне продолжить столь удачно начатую кампанию. С москвитами, этими варварами, считал он, покончено. Так же как и с Данией. Теперь на очереди был Август, саксонский курфюрст, которому в пору пришла и польская корона. Сей куртизан, как сообщили депешей Карлу, пригласил на ужин шведского посла, премило с ним беседовал о девках, а потом вдруг ни с того ни с сего объявил, что начинает военные действия... Каково?

Шведская армия, распаленная легкими победами, скучала на зимних квартирах. 15 января нового 1701 года полковник Шлипенбах от нечего делать предпринял вылазку к Печорскому монастырю. При этом шведский майор Валберштет, на пари и находясь в немалом подпитии, попытался самолично уложить петарду под монастырские ворота; но меткий выстрел из мушкета с крепостной стены пресек сей дерзновенный замысел. В последовавшей затем стычке, как отмечалось в реляции государю, среди прочих разжалованный Шеншин вел себя смело и хладнокровно, увлекая за собою солдат. Шведы отступили от монастыря с уроном. Шеншин за храбрость произведен был в капралы...

Все это время проходило для русских в неусыпных трудах и заботах. В январе Петр ездил в Биржу для свидания с королем польским. Август оставался единственным союзником; датский король, разгромленный и униженный шведами, отпал от коалиции надолго...

Обольстительный и вальяжный, потерявший счет своим любовным победам, Август полагал, что и на поле брани он будет гораздо удачливее царя Петра. Внешне он выказывал глубокое сочувствие и клялся, что, несмотря ни на что, в мире и в войне будет с Петром неразлучен. Но не забыл при этом выпросить у

царя субсидию в 200 тысяч ефимков, а впридачу — еще и вспомогательный сикурс тысяч в 15—20 солдат. Царь все обещал — деваться было некуда.

Замечено было на переговорах, что каждый раз Петр усаживал Августа справа от себя — однажды даже насильно. То ли оттого, что выказывал уважение королю, то ли по другой причине. Не потому ли, что левая сторона лица у царя время от времени искажалась судорогой? Нарвский разгром не прошел для него бесследно... На переговорах в Бирже царь был покладист и сговорчив. Только однажды не выдержал, не совладал с собой: Август начал торговаться, какие земли должны остаться за Речью Посполитой... Царь вне себя выбежал из покоев, оставил торговаться одного Головина.

У Августа оказалась мертвая хватка. Не успел Петр возвратиться в Москву, как тут же следом прикатил генерал-адъютант от его величества короля польского — получать обещанное. Что делать? Взяли где можно — в приказах, в ратуше, в монастырях. Скребли чуть ли не по сусекам... Видя печаль государеву и великую неловкость от таковой нищеты, Преображенского полка бомбардир-поручик Меншиков пожертвовал 420 золотых. Купец Филатьев дал 10 тысяч. Еще кто-то... Наконец нужную сумму собрали.

А 17 апреля, только-только схлынуло половодье и дороги еще как следует не успели подсохнуть, князь Репнин получил грамоту из Посольского приказа. Велено было ему, князю, идти с полками к королевскому величеству польскому в случение с саксонскими войсками. Самому же князю Никите предписывалось находиться при королевских войсках за волонтера, ко всяким воинским поступкам присматриваться, чтобы «впредь в том быть обыкновенну». Иначе говоря, набираться ума-разума...

К 15 мая собрали во Пскове 15 полков. Благословясь, отсюда и выступили, поспешая, елико возможно, дабы не навлечь на себя тяжкого гнева государева. Саксонское войско стояло в ту пору близ городишка Куконос, который на немецкий манер именовался Кокенгаузен. Местные жители называли городишко по своему — Кокнесе...

Путь был труден. Сначала шли вдоль границы, а затем по вражеской территории. Места кругом были болотистые, малолюдные и скудные по части пропитания.

23 июня был уже восьмой день, как корпус князя Репнина перешел кордон. Места тут пошли и вовсе глухие, но двигались вперед уже с большей, чем ранее, опаской. На бивуаках выставлялись усиленные караулы, отряжались дозоры. Большие селения попадались редко, чаще встречались хутора из пяти-шести изб, с многочисленными пристройками. Крестьяне, прослышав, что идет войско, загодя отгоняли скот в чащобы, на вопросы отмалчивались, якобы по незнанию языка, смотрели исподлобья.

— А чисто живут, — переговаривались между собой солдаты. — Бар у них нету, что ли?

— Как это без барина? Шалишь, брат...

— А где ж он? В бегах, что ли?

— Ну да, в бегах. Прознал, что ты идешь, ирой этакой, и деру дал, от греха подальше.

— А у шведа, братцы, губа не дура. Ишь, захапал кусище.

Шел в строю и новоиспеченный капрал Шеншин. Да, теперь у него было капральство, в котором согласно артикулу он был ответствен за каждую пуговицу солдатскую... Скоропалительно после взятия Азова произведенный в полуполковники (чего греха таить, генералиссимус Шеин, князь Алексей Семенович, на радостях, что пала неприступная турецкая твердыня, раздавал чины налево и направо), боярский сын Шеншин по сути солдатской службы как следует и не знал. Теперь же он хлебнул солдатской каши в полную меру; а потому и дорожил капральским чином, пожалуй, больше, чем утерянным по своей глупости полуполковничьим...

Сначала, после тяжкого позорища, он подумывал было наложить на себя руки. Но за ним, не оставляя его ни на минуту одного, зорко следил Федор Зайцев, бывший денщик его, — не только по приказу начальства, но и по своей душевной привязанности к Шеншину.

По-разному относились к беде, постигшей Шеншина, офицеры его полка: иные сочувствовали, а кое-кто посмеивался, даже в глаза. Полковой командир Юнгор, впрочем, не терял к нему своего расположения. «Этак ты, Михайло Юрьевич, и до генерала дойдешь раньше меня», — заметил Юнгор, поздравляя Шеншина с капральским чином, а тот, к своему удивлению, не ощутил в душе былой горечи. Что же, наказание, понесенное им, было хотя и жестоким, но справедливым.

— Ваше благородие, — обратился Зайцев к Шеншину и тут же поправился, — господин капрал. Вот мы тут спорим между собой. Чья ж эта до шведа была земля?

Шеншин, задумавшись, ответил не вдруг.

— Чья, говоришь, земля? Земля эта искони российской короны.

— А Нарва? — спросил белобрысый молодой солдат.

— Что Нарва? — нахмурился Шеншин. — Далась вам эта Нарва...

— Нет, я к тому, российский это город или нет? — смутился солдат.

— Российский... По-старому назывался Ругодив.

— А может, и ничья это земля, — тихо сказал другой солдат.

— Как это ничья?

— А так. Сама по себе...

— Ну нет. Не может этакого быть, чтобы земля ни за кем не числилась. Вот у нас, в Курской губернии... — начал рассказывать солдат, размахивая руками.

— А давеча вечером, как шли, — перебили его. — Не заметили, господин капрал? Огней было на взгорках — не счесть!

— Видимо-невидимо, — подтвердил еще кто-то.

— Я так и смекаю — не иначе как это чухна маячит, шведу знак подает.

— Наверяд ли, — сказал Шеншин. — Праздник это у них, сейчас по времени самая пора. Поклоняются они богу своему языческому, Янусу, оттого и жгут костры, а вокруг хороводы водят. Отец мой бывал в этих краях, еще когда с государем Алексеем Михайловичем ходил под Ригу. Ну, так он и сказывал мне об этих обычаях...

Перед привалом по рядам прокатывалось: «Сто-ой!» Солдаты, рассыпавшись по сторонам, ставили ружья в козлы, стягивали ранцы с натруженных плеч, валились в траву. На дорогу медленно оседала пыль. Голоса звучали приглушенно, как будто оседая на землю вместе с пылью.

Утром 25 июня русское войско соединилось с саксонцами, а вечером того же дня состоялся кригерат — военный совет.

Штаб-квартира союзников находилась в рыцарском замке, причудливом строении о двух этажах, которое лепилось на трехарочном мосту. Мост провисал над оврагом. Замок сторожила зубчатая башня, чудом удерживавшаяся на самом краешке обрывистой скалы, а в башню можно было попасть по мосткам, перекинутым на цепях через ручей. Под скалой на равнине до самого леса раскинулся бивак саксонцев — полотняные шатры и фургоны, шалашики из веток, коновязи, орудия, дымящиеся кухни.

Военный совет имел место в главной зале замка, где, наверно, обычно происходили пиршества. Фельдмаршал Штейнау, главнокомандующий, расположился у самого камина, который разожгли, спасаясь от сырости. Влага сочилась в расщелинах дикого, грубо обтесанного камня, из которого были выложены стены, поблескивала в пламени свечей. От сырости же на мраморном, в белую и красную клетку полу слуги разбросали охапки солом.

Штейнау не торопился открывать совет. Накануне ему испортил настроение русский князь, заявив претензию: почему-де женки мушкетеров саксонских шастают в русский лагерь («Что есть — шастают?») — переспросил переводчик), приносят водку для продажи, и через то русские солдаты приучаются к пьянству. Нельзя ли пресечь оный беспорядок?

— Сие невозможно, — развел руками Штейнау. — Марки-тантки!

Однако через некоторое время саксонцы и русские, подвыпив, подрались и пришлось принимать крутые меры... Репнин оказался прав. Оттого-то Штейнау был теперь недоволен и почему-то ожидал от русского князя новых неприятностей. Но Репнин сидел смирно в самом конце дубового, в ползалы стола

и бокал тяжелого богемского хрустала стоял перед ним нетронутым.

На совете присутствовали: герцог курляндский Фердинанд-Казимир, меланхолического вида молодой человек, любовавшийся игрой бриллиантов на своих перстнях (к нему постоянно обращал свое крючконосое, с глубоко врезанными морщинами лицо Штейнау), военный советник фон Бозен, весь в черном, как монах (и парик на нем вороной), генерал Ревель, закованный в железную кирасу, с грубым лицом старого ландскнехта, сам то и дело подливавший себе в бокал мальвазии. Был еще Иоганн Паткуль, лифляндский дворянин, заочно приговоренный шведским сенатом к четвертованию (яко предатель и изменник). Были и другие лица, из приближенных герцога и свиты фельдмаршала.

Прислушавшись, как в первом этаже в кордегардии, брякнув мушкетами, сменился караул, Штейнау отхлебнул золотистого вина, оправил на себе пудренный, с буклями парик (такой же, как у короля Августа), сказал:

— Я внимательно осмотрел русских солдат, они мне понравились. Но из них я бы, пожалуй, кое-кого забраковал... О, не более пятидесяти, — добавил фельдмаршал поспешно, заметив протестующее движение Репнина.

Кое-что русский князь понимал и без переводчика (не зря шпынял государь, пригодились несколько уроков, взятых у дьяка из Посольского приказа). На сей раз переводил Паткуль, немилосердно коверкая.

— Чем же оные полсотни не по нраву его превосходительства? — осведомился Репнин.

— Ну, кое-кто плохо обучен фрунту, а иные из-за малого росту... — Штейнау в замешательстве остановился, но Репнин и виду не подал, что слова фельдмаршала могли бы отнестись и к его неказистой личности, слушал все так же почтительно. Паткуль, переводя, презрительно усмехнулся на оплошность саксонца... — У них отличные ружья, у ваших солдат, — заторопился Штейнау, пытаясь сгладить неловкость.

— Это маастрихские ружья? — полубопытствовал герцог, отвлекшись на минуту от своей забавы с перстнями.

Репнин кивнул.

— Жаль только, что у вас командуют полками престарелые люди, — подождая немного, не скажет ли герцог еще чего-нибудь, продолжал Штейнау. — Правда, они немцы. Дело свое знают...

— Служат с усердием, — подтвердил Репнин.

— Царское войско никогда в совершенство не придет, если не будет иметь своих хороших офицеров, — назидательно заметил военный советник фон Бозен.

— О да, — закивали головами саксонцы.

— Однако же, — снова встрепенулся герцог, и все со вниманием обратились к нему, — однако же русские — странные

люди! Чересчур близко все принимают к сердцу... Слышал я, в Вене, в опере «Фаворит», французский посол в присутствии шведского и русского посла, князя Голицына, предложил мировую. На это швед отвечал, что с его величеством королем Августом помириться непрочь, но с царем Петром не только что союза, но и мира не будет, и много смеялся... Князь Голицын вспылл, ударился в амбицию и потребовал сатисфакции. — Герцог помолчал, улыбаясь, покрутил перстень на безымянном пальце. Все ждали напряженно... — Дуэли не было, французский посол вмешался, развел их: послам-де оное не приличествует...

— Ну и зря. Пускай бы подрались, — неожиданно хрипло пролаял генерал Ревель и захохотал, закидывая голову.

Герцог поморщился, а Штейнау погрозил генералу пальцем, призывая его к порядку.

Военный совет продолжался.

Фельдмаршал склонялся к тому, чтобы немедленно выступить под Ригу. Что же касается русского корпуса, то из него, пожалуй, четыре полка пойдут в поход, остальным же, вместе с князем Репниным, оставаться на месте, продолжать возводить укрепления. Буде под Ригой неудача, станем здесь в осаду...

Репнин был озадачен и расстроен таким оборотом дела, но сдержал себя, не счел возможным оспаривать мнение фельдмаршала. К тому же, никто и не противоречил. Один Паткуль попытался что-то возразить, но Штейнау сердито замахал на него руками:

— Войска у нас более чем достаточно. Да, господа. Более чем достаточно, чтобы проучить этого выскочку, этого мальчишку Карла. А вам, Паткуль, я удивляюсь. Все-таки на вас саксонский мундир...

Паткуль со злостью передернул плечами. Мундир, сидевший на нем в обтяжку (Паткуль гораздо был грузен), явственно треснул.

— На берегах Двины шведы будут разбиты по всем правилам военной науки, — как бы подытоживая, заметил военный советник фон Бозен. — Вы обратили внимание, господа, сегодня я в черном, но это траур по неприятелю...

Шутка имела успех.

— Раз уж такая уверенность, почему бы не поделиться славою с русскими, — проворчал неисправимый Паткуль. На него поглядели насмешливо.

— Виват, господа, — прекращая споры, поднял Штейнау бокал.

— Виват! — поспешно, словно мучимый жаждой, прохрипел генерал Ревель и смаху опрокинул в глотку содержимое своего бокала.

В конце июня шведское войско вышло из Дерпта и форсированным маршем двинулось к Риге.

На последнем переходе Карл XII получил сообщение, что

саксонское войско подошло к Риге и находится на левом берегу Двины.

— Отлично! Мы переправимся и разобьем Штейнау, — обрадовался Карл.

— Сир, плоты разматывает первым же залпом, — осмелился возразить генерал Левенгаупт.

Еще кто-то выразил сомнение в возможности осуществить переправу на глазах у неприятеля. А французский посланник Гискар соболезнующе покачал головой:

— Все-таки, сир, это — не русские, а саксонцы...

Губы у короля дрогнули. Казалось, вот-вот он расплачется, как ребенок, у которого отнимают любимую игрушку. Однако он справился с собой, грубо выругался по-солдатски, назвал Левенгаупта жалким трусом (генерал на это обидчиво дернул щекой, перечеркнутой багровым шрамом), а Гискару бросил, что ему все равно — саксонцы ли, французы, и лицо французского посланника вытянулось от огорчения...

Вслед за тем, поручив армию генералу Левенгаупту, король с небольшой свитой из рейтар оторвался от войска и, безжалостно пришпоривая коня, к вечеру 8 июля прискакал к восточным воротам Риги.

Дозорные с воротной башни еще издали узнали желтый королевский штандарт. Тяжелые, окованные железом ворота медленно распахнулись. По обычаю короля полагалось приветствовать пушечным выстрелом. Фитиль задымился; но один из рейтар, по знаку короля, на скаку выхватил фитиль из рук пушкаря.

Редкие прохожие испуганно жались к стенам домов. Задавить простолюдина не считалось событием — экая важность... Стремительно разматывая клубок узких улочек, всадники галопом влетели на Домскую площадь, свернули от собора направо в переулок и через мгновение были уже в цитадели.

— Дальберг, какое у вас зловоние на улицах, — сказал Карл, бросил шляпу на стол, заваленный бумагами. Расстегивая у ворота свой пыльный, пропахший конским потом плащ, пожаловался: — Мне едва не вылили на голову содержимое ночного горшка...

Престарелый Дальберг, рижский губернатор, изогнулся в почтительном поклоне, обескураженно молчал, следя за пухлыми губами юноши-короля, из коих исходило старческое брюзжание. Карл в изнеможении упал в кресло, вытянул перед собой длинные ноги в заляпанных грязью ботфортах.

— Готовы ли переправочные средства? — безо всякого перехода спросил он.

— Готовы, сир, — отвечал Дальберг. — Согласно вашей депеше...

Речь его напоминала шелест пергамента.

— Что нового? Штейнау, надеюсь, еще не ушел? Да вы садитесь, Дальберг. А что русские?

— Здесь около четырех тысяч.

— Битому не мется, — пробормотал король.

— Сир? — не расслышав, переспросил Дальберг.

— Ничего, это я так... Продолжайте.

— Остальные русские у Кокенгаузена. Командует ими князь Репнин.

— Репнин? Жаль, что его не было под Нарвой! — Король желчно усмехнулся. — А Штейнау — осел, он раздробил свои силы. Кто у него помощники? Герцог? Разве он военный человек? Кто еще? Паткуль? А этот разве еще не повешен?

— Вы хотели сказать, сир, — не четвертован, — подхватил Дальберг королевскую шутку. Карл захохотал. Дальберг, изображая улыбку, раздвинул в стороны щель своего узкого рта.

— Ну что ж, — вскинулся Карл, становясь серьезным (Дальберг, в соответствие, сразу насупился). — Посмотрим вашу флотилию. — Дальберг протянул шляпу королю. — Нет, после ужина.

Губернатор брякнул в серебряный колокольчик. Вошел слуга, важный и величественный в своей оранжевой ливрее, расшитой золотом.

— Приготовьте ужин для его величества, — приказал Дальберг.

— Яичницу, бисквиты, — скрупулезно стал перечислять Карл. — И пожалуй... — Он задумался.

Лакей с откровенной скукой смотрел на замухрышку-короля.

— Вина, э... ваше величество? — не выдержав, подсказал он и зевнул.

— Воды, болван! — Лакей испуганно отпрянул, сразу растеряв всю свою значительность. — Надеюсь, в Риге найдется глоток чистой воды для короля? — иронически бросил Карл губернатору.

Лакей, беспрерывно кланяясь, пятился к двери.

— Ну-ка постой. — Карл вскочил с кресла, а лакей сжался и зажмурился в ожидании пинка. — Покажи-ка, любезный, где тут у вас кухня. Да перестань дрожать...

На кухне король, к удивлению челяди, соизволил лично проверить каждое из яиц, которые предназначались ему на ужин, дотошно рассматривая их на свет (нет ли, чего доброго, болтуна). Остался доволен.

После своей более чем скудной трапезы Карл придирчиво осмотрел барки и плоты, которые во множестве колыхались у берега, словно прибитые половодьем. Задумчиво посмотрел на костры саксонского лагеря, блестящие на противоположном берегу Двины, и приказал обложить борта лодок тюками с пенькой, для защиты от ядер и пуль, а на плоты наметать побольше сена.

— Да хорошенько намочить сено! — добавил король, не объясняя зачем. Время было около полуночи.

Отдыхая затем в отведенных ему покоях во дворце губернатора, Карл позволил себе лишь расстегнуть воротник своего поношенного сюртука (он был подчеркнута бережлив). Задрав ноги в ботфортах на каминную решетку, задремал. На камине в бронзовом шандале осталась гореть свеча. Когда она начала чадить и трещать, король взмыкивал, нервно сучил ногами. Чудилась ему, наверно, ружейная пальба или же барабанная дробь...

«Я, Иоганн Рейнгольд Паткуль, находясь в добром здравии, пишу эти строки, не пытаюсь оправдаться, а из желания восстановить истину и свое доброе имя.

Непомерные притязания и грубость шведов вынудили меня перейти на службу к его величеству королю Августу. Польская республика, мнилось мне тогда, это единственная держава, которая может прийти на помощь моему бедному народу. Потом, когда эти надежды мои были обмануты, я стал служить царю Петру. Государь присвоил мне чин генерал-поручика и назначил посланником в Дрезден, где я усердно трудился почти пять лет. Видит бог, я был верен своему господину и не щадя своих сил старался быть ему полезен. Я не виню его ни в чем, даже в том, что он так и не сумел вызволить меня из плена. Видно, сейчас это не в его власти... А ведь как я предупреждал его не доверяться Августу! И вот итог. Не обо мне сейчас речь — нанесено оскорбление самому царю Петру. За его спиной Август договорился со шведами и в залог своей искренности выдал им русского посланника. Что ж, теперь мне остается только покориться моей печальной участи. Меня ожидает мучительная казнь, но я готов к этому последнему испытанию...

Перехожу к тому, как пять лет назад мы встали под Ригой. Мне было доверено командовать левым крылом. Правым флангом руководил герцог курляндский, а фельдмаршал Штейнау стоял в центре.

Накануне я был свидетелем любопытной сцены. Фельдмаршал рассматривал в подзорную трубу рижские укрепления. К нему подошел русский полковник Томас Юнгор и осведомился, какую ему занять позицию.

— Юнгор, — по-свойски потрепал его по плечу фельдмаршал, не отрываясь глазом от подзорной трубы, — да не путайтесь вы под ногами со своими русскими.

Юнгор, не обращая внимания на смешки из свиты главнокомандующего, продолжал настаивать:

— Все-таки, фельдмаршал...

Штейнау раздраженно, со стуком сложил трубу.

— Оставайтесь в резерве.

Юнгор, вздохнув, приложил два пальца к шляпе и отошел. Больше я с того времени его не видел.

В то роковое утро 9 июля еще затемно меня разбудил дежурный офицер. Приказано было немедленно прибыть

к фельдмаршалу, штаб-квартира коего находилась в полуверсте, в чухонской мызе.

— Господа! — начал Штейнау без промедления. — На том берегу замечено движение неприятеля. Полагаю, что шведы уходят из Риги.

— Не приняв сражения? Это не похоже на Карла, — заговорили офицеры.

— Я полагаю, что нам нужно следовать за шведами параллельным курсом. Возможно, они хотят переправиться через Двину в другом месте, выше по течению... — И Штейнау углубился в карту.

Я попросил слово и высказался в том смысле, что движение неприятеля может быть только диверсией.

— А смысл?

— С целью отвлечь наше внимание...

— Вот и хорошо, Паткуль, — перебил меня фельдмаршал. — Вы остаетесь с герцогом на месте, я же двигаюсь за шведами. Не хватало еще, чтобы меня провели, как мальчишку...

Делать было нечего, оставалось повиноваться. Мы заняли свои позиции.

Только когда Двину заволокло дымом (ветер дул в нашу сторону), я разгадал дьявольский замысел шведского короля. Штейнау погнался за призраком, я оказался прав... Я немедленно послал гонца за фельдмаршалом. К этому времени он успел отойти на несколько верст. Как выяснилось впоследствии, отнюдь не мой гонец, а звуки начавшейся битвы сломили упорство — или упрямство — фельдмаршала.

Тем временем под прикрытием дымовой завесы шведские барки и плоты приближались к нашему берегу. Я уже чувствовал гарь на губах... Была отдана команда стрелять. Передняя барка сразу же раскололась в щепки, еще две или три перевернулись. Шведы тонули, хватались за обломки. Орудия еще раз хлестнули картечью, мушкетные пули по одному выщелкивали шведов, и они сыпались в воду, словно кули.

И вдруг я увидел Карла. Он стоял в одной из лодок, выставив ногу вперед, со шпагой в руке. Гренадеры его окружали. Над королем плескался на ветру его личный штандарт со львом, разинувшим пасть и вставшим на дыбы. Ветер трепал непокрытые волосы короля. Вокруг него смерть косила людей, а он казался заговоренным... Поистине он был великолепен в своей наглости!

Между тем барки одна за другой уже причаливали к берегу, застревали на отмели. Шведы прыгивали в воду и, поднявши ружья над головой, в облипнувшей на них одежде выбирались, карабкались на берег. Саксонцы встречали их в штыки; река окрасилась кровью.

Дальнейшее я помню смутно. Мне пришлось отражать направленные в меня удары; я был ранен в бедро. Ординарцу

удалось посадить меня на коня, и я покинул поле битвы. Герцог Фердинанд-Казимир в рукопашной схватке получил удар прикладом в голову, оглушивший его, и был взят в плен. А что же фельдмаршал? Его, не дойдя до поля сражения, увлекли за собой свои же бегущие солдаты — увы, в противоположную от боя сторону... Так велик был страх перед шведами! В итоге мы потеряли всю артиллерию и две тысячи солдат было убито. Нам отрезали путь к Кокенгаузену, и пришлось уходить в Польшу, оставляя князя Репнина на милость божию...»

Часть резерва — около двух батальонов русских солдат — томилась в укреплении на острове Луцав. Звуки сражения, которое разгорелось в отдалении, доносились на остров. Но вскоре все стихло. Офицеры были в нерешительности. Приказаний не поступало...

Уже смеркалось, когда на левом берегу напротив острова появились шведские парламентары — офицер с белым флагом и с ним трубач. Переехать неглубокую (коню по брюху) протоку им не разрешили, ультиматум выслушали и тут же отклонили. Шведский парламентар пожал плечами и ускакал.

В это самое время в рижской ратуше Карлу воздавались пышные почести по случаю его блестящей победы. Волны лести окутывали короля; придворные, перебивая друг друга, захлебываясь, перебирали перипетии сражения: подумать только, у неприятеля было вдвое больше войска («У них было 25, а у нас — 18 тысяч», — скромно уточнил Карл), и как доверчиво Штейнау клюнул на приманку, и как верные подданные короля, тревожась за успех, усеяли крепостные стены, а иные даже забрались на мачты купеческих судов, стоящих в гавани... В это время прибыл парламентар; королю доложили о результатах переговоров.

— На что они надеются? — развел руками Карл. — Этих русских бог лишил разума... Будем, однако же, великодушны. Предложите им сдаться еще раз.

— Они отвечают выстрелами, сир, — доложили через некоторое время королю. Карл насупилсся.

— Тогда... Никому не давать пощады!

Русские отбивались до самой темноты. При свете звезд сошлись в рукопашной, и множество тел с той и с другой стороны осталось на отмелях и в кустарнике.

Офицеры все были перебиты. В редуте собрались двенадцать солдат, из них трое тяжело раненных.

— Что будем делать, господин капрал? — обратился один из солдат, старее других по возрасту, к старшему по чину. — Неужто помирать нам всем?

Капрал вздохнул, снял шляпу. Стирая пот со лба, размазывал пороховую копоть, глядел, как рядом саженного роста стрелец

в разорванном на плече кафтане и с перевязанной головой прилаживал на бруствере пищаль.

— Пересчитай заряды, — сказал, наконец, капрал.

Зарядов оставалось не густо.

— Уходить будем, ребята, — сказал капрал.

— А раненые?

— Возьмем с собой. Не оставлять же...

Отошли с острова без единого выстрела. Сгнули, пропали в ночной мгле...

— Господин капрал!

— Тише ты... Ну, чего тебе.

— Ты из каких будешь? Не примечал я тебя вроде до этого...

— Я из мушкетерского полка.

— А... Зовут-то как?

— Шеншин Михайло.

Капрал шел впереди своего маленького отряда, угадывал путь по звездам. Странное видение привязалось и не оставляло его. Вспомнилось почему-то, как некогда с него, опального полуполковника, снимали допрос. Был ему задан, среди прочих, и такой вопрос: не был ли он замешан сам, либо его отец, или же кто из братьев в прошлой противозаконной смуте? На что Шеншин возразил, что отец его умер от стрелы татарской в крымском походе, а братьев он не имеет... Аудитор, махнув рукою, приказал писцу:

— Пиши — не замешан...

Дьячок, высунув от усердия язык и подрагивая жалкой косицей на затылке, заскрипел пером. Шеншин помимо воли краем глаза подглядывал, как на бумаге появлялось: «На замешан, понеже раньше того умре...»

Этот самый дьячок долго еще не давал покоя — дразнился высунутым языком, кривлялся и гнусил на ухо... Не отставал, пока не добрались к своим.

* * *

Около Кокнесе до сего времени видны полузатопленные развалины замка, взорванного по приказу князя Репнина. Вот как об этом событии повествует летопись:

«...И пришед в город Куконос, пушки государевы велел зарядить ядрами, и под город земляной, и под раскаты, и под рвы подвалить бочки с порохом, и велел солдатам и всяких чинов людям ратники из города выттить и город со всем рядом запалить...»

До Полтавской баталии оставалось еще 8 лет, долгих и трудных. Рассчитывать было не на кого, кроме как на самих себя...

- 1. СОКРАЩЕНИЕ: ФУНКЦИИ ИЛИ ЛИЧНОСТИ?**
- 2. РАБОЧИЕ РУКИ И РАБОЧИЕ МЕСТА:
НЕХВАТКА ИЛИ ИЗБЫТОК?**
- 3. «ДРАЙКИНДЕРСИСТЕМ»?**

Среди прочих разговоров, особенно актуальных сегодня в трамваях, учреждениях и семьях, все острее заявляет о себе тема готовящегося крупного сокращения управленческого персонала в стране. Называют цифры, предполагаются сроки. Обсуждаются возникающие в связи с этим проблемы. На встречах с партийными и советскими работниками задаются вопросы на эту тему. С целью внести ясность в суть происходящего редакция «Даугавы» сделала запрос председателю Государственного комитета по труду и социальным вопросам Латвийской ССР В. Н. ЧЕВАЧИНУ. Ниже мы приводим текст беседы.

Корр. Валерий Николаевич, насколько аппарат управления нуждается в коренном переустройстве, чтобы приспособиться к новым условиям работы?

В. Н. Чевачин. В чем, собственно, суть дела? Аппарат управления должен соответствовать задачам перестройки. И будет им соответствовать. Его действительно надо сократить, поняв, какие звенья и структуры его были лишними. Вести сегодня речь о механическом сокращении, в отрыве от всех остальных факторов, считаю полным заблуждением. Так было в прошлые годы, когда мы всё сокращали и сокращали аппарат, а он все рос и рос. Сегодняшняя задача звучит так: реорганизация системы управления. Упрощение. Передача

функций сверху вниз. Повышение самостоятельности предприятий. Отказ от некоторых функций верхних эшелонов управления, может быть даже полное исключение некоторых из них, касающихся планов, технологии, распределения и прочее и прочее. Но сделать это будет не просто. Я чувствую, что ждет нас упорное сопротивление — все начнут драться за сохранение этих уходящих функций. Вспоминаю, была у нас как-то одна любопытная работа. Начали мы изучать смысл существования различных самостоятельных подразделений, разных контор и конторок. Выяснилось, что несть им числа. Но оказалось, не так просто довести эту работу до конца. Писали мы письма в те высшие стоящие ведомства, которым эти конторы принадлежали, но... большинство посчитало, что жизнь останется, если ликвидировать ту или

иную из них. Тогда мы даже не предлагали решительно и безоговорочно сокращать эти учреждения. Мы обращали внимание лишь на то, что нет контроля за работой, низка отдача, предлагали слить или укрупнить конторы. Может, наши предложения и не были свободны от недостатков, но большинство ведомств защищало свои ворота с удивительным пылом.

— В нашей республике аппарат управления составляет чуть меньше 180 тысяч и пока действительно растёт. Какая цифра вам кажется оптимальной? И на сколько процентов предполагается сократить аппарат?

— Да нету пока никаких официальных процентов, никаких директивных цифр. Нужно не о них думать, а о новой концепции управленческого аппарата. Ведь в министерствах и ведомствах, которые необходимо сокращать, никто сегодня без дела не сидит. Загруженных людей масса. Только чем загружены? Есть общенародная, общэкономическая необходимость в сохранении именно такого аппарата? Нет такой необходимости.

Не знаю, насколько будет убавлен штат. По одним министерствам и ведомствам, возможно, и наполовину сократится, по другим — меньше. Но при главном условии: должны быть защищены новые генеральные схемы управления.

— А не получится ли то, о чем, в частности, писал в своей последней неоконченной статье Анатолий Аграновский: нечто вроде игры сообщающихся сосудов, когда под разными названиями сохраняется прежний «объем ёмкости», в данном случае — аппарата управления?

— Да нет, наверное, на этот раз этого не произойдет, потому что вступит в силу и финансовое регулирование.

— Разъясните, пожалуйста.

— Остающиеся работники должны быть заинтересованы, чтобы не произошло того, о чем вы говорите. Ведь раньше сокращение означало увеличение объема работы при прежней зарплате, что, в сущности, было уравниловкой и вело к стремлению сохранить аппарат фактически в нетронутости. Сегодня же до семидесяти процентов сэкономленных при сокращении средств должно

оставаться в распоряжении организации и распределяться в соответствии с личным вкладом каждого.

— Но тут возникает сложный и этически достаточно болезненный момент. Придется расставаться с коллегами, с которыми люди сработались за долгие годы. И каждый будет знать, что «его» зарплата теперь достанется остающимся, хотя, как это часто бывает, все работали почти с одинаковой отдачей...

— Ну а какой иной путь можно предложить? Никто со стороны не придет занимать освобождающиеся места. Сокращение будет проходить демократично, с аттестацией. И не стоит думать, что оно коснется только тех, кто работает явно хуже других. Будут сокращаться и «равноценные работники».

— Если я правильно понял, сокращение будет носить не личный характер, а функциональный.

— Именно так. И процессом сокращения не должен руководить лишь один человек или даже несколько; отдельные люди могут ошибиться, будь они даже семи пядей во лбу. Кроме того, мы должны позаботиться о тех, кого коснется сокращение. Возникнет проблема их трудоустройства. И я чувствую, что это не заставит себя ждать...

— Какие социальные гарантии будут предоставлены тем, кого ждет сокращение?

— Безработным никто не останется. Но упростить положение тоже не следует. Возникнут новые ситуации, с которыми мы раньше не сталкивались. На первых порах, я надеюсь, больших затруднений испытывать мы не будем, поскольку у нас есть немало вакансий — и пустующие рабочие места, и управленческие должности на предприятиях...

— Ближе к производству!

— Ближе к производству. Определенное сокращение уже прошло — в системе научного обслуживания, в тех организациях, где внедряется новая система оплаты; прошло большое сокращение на Прибалтийской железной дороге. Мы были заранее предупреждены и помогали подыскивать уходящим работу.

Ясно, что к тем гарантиям, что имеются сегодня, будут прибавлены и другие, критерии которых только вырабатываются.

— Представим себе такое положение. Человек отработал где-то в отделе лет двадцать. Он уже не мальчик, у него сложился определенный стереотип жизни, да он и забыл, когда работал на производстве. И вдруг — все надо менять, да и не по своей воле. Не будет ли этот процесс для многих носить непоправимый характер?

— Ну, за всех проиграть ситуацию невозможно. Но вот, помню, когда создавался Агропром, он выбрал в себя несколько министерств. Следовательно прошло значительное сокращение штатов. Некоторые работники имели возможность на два года раньше выйти на пенсию; другим на определенное время сохранялся средний заработок, пока они подыскивали себе работу, во всяком случае выход для каждого был и будет найден. Была оказана помощь и в подборе подходящего места, и в перекавалификации.

— Не следует ли уже сейчас создавать механизм помощи таким людям, чтобы события не застали их врасплох?

— Для особых беспокойств серьезных оснований нет. Как я уже говорил, на первых порах ситуация будет развиваться достаточно спокойно, и мы успеем отработать систему помощи людям в деле их трудоустройства. Социальная защищенность человека должна быть не ниже, а возможно, и выше. Конечно, всегда будут огорченные, это естественно. Но дальше так жить, как сегодня, нельзя.

2

Корр. Можно ли полагать, что часть высвобождающегося персонала существенно пополнит трудовые ресурсы республики, состояние которых обычно вызывает озабоченность?

В. Н. Чевачин. Принято считать, — и мнение это крепко устоялось, — что у нас нехватка рабочих рук. Но есть и другая точка зрения: относительный избыток рабочих мест. Нам решительно не нравится слово «дефицит» по отношению к трудовым ресурсам. Как может не хватать рабочих рук? Сколько их есть, столько есть. Вопрос в том, сколько для этих рук мы создаем рабочих мест.

На протяжении почти семидесяти лет развитие нашей экономики шло... ну, неким средним путем: интенсивным и экстенсивным; время от времени верх брал тот или иной подход. Но все же предпочтение отдавалось экстенсивному методу. И получалось, что, допустим, двойное увеличение производства немедленно влекло за собой такое же увеличение количества рабочих мест.

Паниковать, задним числом драматизировать ситуацию не стоит: на определенном историческом этапе это был естественный путь развития. Как ток течет там, где меньше сопротивления, так и руководители нашей экономики выбирали этот путь. Но дело в том, что он сформулировал такие стереотипы в мышлении хозяйственника, что теперь мы бьемся изо всех сил, дабы внушить ему: надо поворачивать, так дальше жить и работать невозможно — неоткуда будет брать рабочие руки, если он захочет увеличить объем производства. А стереотипы-то въелись в плоть и кровь, инерция мышления сильнее, чем у маховика какого-нибудь... а может, и больше даже. И нам приходится пускать в дело — да и сейчас приходится — сугубо административные рычаги, чтобы как-то поправлять положение. И кое-что нам удалось. Остановилось, я не боюсь этого слова, разорение латвийского села. Госкомтруд возник десять лет назад, и одним из первых дел, которым он занялся, была борьба за приостановление оттока людей из села. Работа эта принесла свои плоды: сейчас мы говорим не об уменьшении сельского населения, а об определенном увеличении сельских жителей в ряде наших районов.

— Можно ли из сказанного вами сделать вывод, что вы удовлетворены положением с трудовыми ресурсами?

— Нет, удовлетворения испытывать я не могу. Сегодня у нас есть определенный зазор между планами и фактическим положением дел. Людей не хватает. Это серьезно осложняет работу и промышленности, и сельского хозяйства, и строительства. Дефицит рабочих рук, как бы он ни был мал, торпедирует многие усилия по наведению порядка, дисциплины. Остаются незанятыми мно-

гие, так сказать, непрестижные, но позарез необходимые места, и чтобы люди там держались, приходится манипулировать заработной платой, платить не столько за труд, сколько за присутствие на этом рабочем месте, не за квалификацию и качество, а за то, что «спасибо, остаешься...».

— **То есть администрация как бы теряет рычаги воздействия на своих работников.**

— Они серьезно ослаблены. Так что до идеала тут далеко. Еще об инерции, о которой мы говорили... До сих пор каждый год с мест идут просьбы, просьбы, просьбы об увеличении численности занятых. Многие наши руководители даже сегодня не видят иных способов «прибавить», как только за счет увеличения численности работающих у них.

— **И кто, если не секрет, грешит этим больше всего?**

— Мне легче говорить о тех, кто придерживается другого подхода...

— **Например!**

— Многие годы не обращаются к нам с просьбами «Автоэлектроприбор», «Компрессор». Но таких предприятий очень не много...

— **Какие меры принимает Госкомтруд?**

— Мы постепенно, может чуть медленнее, чем хотелось бы, идем к созданию СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ. Можем упомянуть и о таких жестких административных методах, как лимитирование численности работающих. Но с некоторых пор мы это дело усовершенствовали. Впервые в республике и, думаю, в стране разработан баланс трудовых ресурсов по каждому городу, району и по каждой отрасли, что очень важно. Причем в балансах очень строго учитывается, сколько людей в наличии, сколько их должно быть занято. Вот исходя из этих данных и составляется план по труду.

— **Если есть такие балансы и если руководители предприятий должны ими руководствоваться, почему же они все-таки обращаются к вам с просьбами — дайте людей!**

— Каждому думается, что его отрасль или предприятие самое важное и что он за счет других как исключение имеет право на послабле-

ние... И таких очень много. Все всё понимают, но просят: дайте триста человек. «Откуда взять?» — задаю я встречный вопрос. «Ну, это уже ваше дело...» — таков ответ.

Вот тут мы и вырабатываем равновесие. В балансах на пятилетие где-то выстраиваем динамический ряд с тенденцией к уменьшению численности, а где-то — к увеличению. Например, определенное увеличение запланировано по строительству.

— **Нет ли тут противоречия? Не раз и не два в самых различных аудиториях приходилось слышать мнение, что строительство промышленных предприятий в республике ведется по-прежнему непродуманно, по-прежнему несет определенную опасность. Строятся предприятия, для которых заведомо нет рабочих рук. Не знаю, так ли это или нет, но говорят, что «Лаума» была построена, чтобы занять работой членов семей военнослужащих, хотя легко можно было предположить, что в цехи, к станкам они не пойдут. Валмиерский и Огрский комбинаты, завод химволокна в Даугавпилсе, стянувшие к себе огромное количество женского населения (что ослабило и без того нелегкую демографическую ситуацию), вызвали много трудностей социального порядка. В свое время я побывав на электроламповом заводе и обратил внимание на то, что все девочки, сидящие на конвейере, родом из маленьких белорусских городков и больше всего их волнует... как бы остаться в Риге навсегда. Говорилось об этом достаточно, но... в Риге снова строится большое предприятие — завод роботов. А ведь если правильны цифры, почерпнутые из документов Госкомтруда, к началу 1987 года по республике не хватает 30 тысяч рабочих рук и три четверти трудовых ресурсов возмещаются за счет мигрантов из других республик...**

— Ну, эта последняя цифра уже несколько устарела, положение сейчас носит другой характер. За последние 3—4 года число въезжающих в республику и выезжающих из нее фактически сравнялось. На те же проблемы, что вы затронули, у меня есть свой взгляд... и, думаю, он достаточно объективен.

Вопрос, который вы затронули,

один из самых сложных, он имеет не только экономический оттенок, но и политический и бытовой аспект. К сожалению, долгие годы считалось, что процесс воспроизводства трудовых ресурсов — это дело сугубо территориальное, а планирование их использования — это дело ведомств. И многое из того, что было вами перечислено, возникало потому, что решение принималось в е д о м с т в е: что строить и где, и на сколько рабочих, и прочее и прочее. И мы могли спорить и не соглашаться, но слышали в ответ: н а д о! Планирование в этой области было оторвано от жизни. Таким образом появились или существенно расширились многие промышленные предприятия, подчинявшиеся союзным министерствам. Взять хотя бы «Радиотехнику». Мнение «на местах», баланс трудовых ресурсов там же меньше всего интересовали тех, кто принимал эти решения. Так длилось довольно долгое время, за счет чего у нас и возникли перекосы.

— Для конкретности, вернемся к «Лауме».

— Что касается «Лаумы», то там, я думаю, имел место просчет от неграмотности. Тогда Комитет по труду только зарождался, и насколько я знаю от своей предшественницы Веры Васильевны Леоновой, она настойчиво говорила, что там, в Лиенае, не сыщется такого количества рабочей силы. Объективно резерв существовал, но этот специфический контингент, часто меняющий место жительства, не мог и не пошел работать в цехи. Сейчас там работают девушки из Лиепайского и Вентспилсского районов, из Белоруссии, Псковской области и т. д. Мы не приветствуем этот путь, он бесперспективен...

— Тем не менее завод роботов в Риге ставится...

— Правительство республики совершенно сознательно решило поставить завод в Риге. И если на первых порах он в самом деле «оттянет» рабочую силу, то в конечном итоге он должен дать огромную ее экономию. Это наукоемкое производство, которое надо развивать. Я хочу предостеречь от одного заблуждения: мол, мы настолько насыщены промышленностью, что нам и развиваться не надо. Нет, нам нуж-

но развиваться! Только нельзя развиваться безмозгло, нельзя у нас ставить человекемкие производства, которым самое место в трудоизбыточных районах. А трудосберегающие производства, высокомеханизированные и автоматизированные — их нам чураться не стоит. И когда решался вопрос о заводе роботов, одним из условий было то, что значительная часть роботов останется в республике.

— При существующем дефиците рабочих рук в строительстве не усугубит ли ситуацию предполагаемое строительство в Риге метро?

— Вопрос серьезный. Метро — транспорт очень хороший, но я не считаю, что Риге он позарез необходим. В Риге нам нужен вид транспорта более дешевый, чем метро, но не хуже, чем оно, решающий транспортные проблемы. На мой взгляд, это может быть скоростной трамвай. Ведь у нас есть РВЗ и хорошие инженеры. Имея такой завод, мы должны были показать пример, как экономично решать транспортные проблемы города.

— Тем более, что для метро потребуется не одна тысяча рабочих.

— Ну, если будет нужно позарез, нашли бы, вывернулись бы. Но давайте, пока не поздно, еще раз сверим затраты и отдачу. Давайте учиться пластичным подходам к проектам.

— Вы говорили, что положение на селе улучшается...

— Да. Но в эйфорию впадать не стоит. Нас очень беспокоит восточная зона, где практического улучшения не просматривается. Скажем так: симптомы улучшения есть, точнее, отдельные примеры.

— Тем не менее, по данным вашего комитета, средний возраст работающих сегодня на селе составляет 43,1 года. Не много ли!

— Средний возраст заметно изменится к 90-м годам, в это время будут выходить на пенсию люди, родившиеся в тридцатых годах, самое многочисленное поколение советских людей и менее пострадавшее от войны. И в те же годы к труду приступит чуть больше людей, чем будет уходить на отдых. Таким образом, резко омолодится возраст работающих.

— **Мой опыт, конечно, чисто эмпирический, но и его я не могу сбрасывать со счетов. Во время поездов в колхозы бросалось в глаза, что на полях и фермах в большинстве своем работают люди пожилого возраста, не считая, конечно, богатых и знаменитых колхозов типа «Адажи» или «Накотне».**

— Ваш опыт не отрицает того, что я сказал. Да, это и нас беспокоит, но мы довольны, что преодолели, поломали тенденцию еще большего старения села, остановили отток из сельской местности, и теперь перед нами стоит другая, не менее сложная задача: закрепление людей на селе, может даже не столько в количественном аспекте, сколько в качественном. И пути к этому известны — как только появляется или улучшается инфраструктура села, социальность, как принято говорить, — сразу же появляется и молодежь, молодые лица: приезжают, возвращаются, оседают... Но для этого, как ни парадоксально, надо на селе и промышленность развивать. Не всех сельских жителей привлекает сельскохозяйственное производство, не все могут найти себя в нем. Так уж лучше иметь свой рабочий класс на территории колхоза, по крайней мере сезонным будет учитываться лучшим образом. Хочу немного отвлечься. Структуру села, так же как и города, нельзя воспринимать в застывшей форме. Некоторых напугали бы мои слова: промышленное производство в колхозе! А в принципе же — это путь. Известен венгерский опыт, но у нас есть и свой собственный. Беда в другом. Когда это делается не по инициативе снизу, не по инициативе руководителей колхоза или района, а решение принимается в кабинете министерства или ведомства и в села «привозят» готовый филиал, где ему планируют и труд, и вал, и номенклатуру (а на месте только рабочая сила набирается), — вот это мы не приветствуем. Если в районе пришли к выводу, что надо развивать производство, то все должно делаться под контролем «с мест».

— **Вы говорите о чем-то вроде лодсобных промыслов?**

— И не только о них. Можно вести речь даже и об электронной промышленности. Но у нас сегодня

в большинстве случаев промышленные предприятия на территории колхоза — не помощь, а помеха. Бремя, отвлекающее людей от сельскохозяйственного производства. Вот, например, фирма «Латвия» имеет на селе свои филиалы, а что выиграл Краславский район от такого филиала? Кроме того, что поделился своими небогатыми трудовыми ресурсами? Нельзя достигать благоденствия одних за счет других, нельзя построить коммунизм на отдельном заводе. Общество — единый организм, и если, образно говоря, плохо слева, то плохо и справа. И поэтому мы в свое время выступили, прямо скажем, возмутителями спокойствия. Написали обстоятельную докладную на этот счет в Центральный Комитет, получили стопроцентную поддержку, и таким образом был приостановлен процесс нарастания филиалов, которые не помогают, а мешают нам.

— **А имеются примеры положительного решения этой проблемы?**

— Не идеальные, но есть. Вот в Стучкинском районе есть филиал ВЭФа по производству телефонных аппаратов. Спросите мнение местных руководителей: хотели бы они иметь такое предприятие? И я уверен, что они ответят «да». Предприятие участвует в развитии города — в развитии его коммунальных служб, инженерных сетей. Это сила, а не слабость города, органическая часть его хозяйства. Да, филиал, конечно, оттягивает к себе часть рабочей силы района (по утрам ее возят на автобусах из близлежащих сел), но местные руководители говорят, что они управляют этим процессом, и, очевидно, у них есть основания так говорить.

3

Корр. Есть еще один аспект разговора о проблемах трудовых ресурсов — этнический. Как он учитывается вашей перспективной программой? Многие считают, что индустриализация Латвии влечет за собой уменьшение доли латышского населения республики.

В. Н. Чевачин. Да, действительно, доля местного населения в прошлом несколько сокращалась, потому что в послевоенное время прибавлялись

приезжие — нужны были специалисты, необходимо было развивать промышленность.

Что же касается абсолютного числа коренных латышей, то оно возросло. Вот цифры, которые приводит директор Латвийского отделения НИИ Госкомстата СССР, доктор экономических наук профессор Бруно Янович Межгайлс. Если по переписи 1897 года доля латышей в национальном составе в процентном отношении составляла 68,3 процента, то к переписи 1979 года она в самом деле сократилась до 53,7 процента. Но в абсолютных цифрах выросло с 1318,1 тысячи человек до 1344,1 тысячи. И не забывайте, что на этот период пришлось две мировые войны, эвакуации и эмиграции. И тем не менее число лиц коренной национальности в республике сейчас растет.

— Нет ли оснований опасаться, что если сегодня коренное население увеличилось, в дальнейшем процесс этот пойдет на спад, тем более, что Прибалтика, Латвия исконно считаются «малодетными» республиками!.. Можно ли как-то контролировать положение дел в этой области?

— С цифрами вы уже знакомы: общая численность латышей не уменьшается, а растет. Уровень рождаемости у мам-латышек на 20 процентов выше среднего уровня в нашей республике. Но... в том, чтобы стало больше латышей, помочь могут только латыши. Планированию это дело не подлежит... а управлять процессом можно. И нужно.

— Но как!

— Существует расхожее мнение, и оно, кстати, недалеко от истины, что нужно стимулировать рождаемость материальными средствами. Действительно, у нас прирост рождаемости, в том числе и среди латышской части населения, приходится на время ввода в действие новых льгот для матерей. Это была ожидаемая реакция. Моя же точка зрения, которую я не раз высказывал на самых разных уровнях, заключается в том, что всеобщих стимулов, одинаково действующих по всей стране, нет и быть не может. Есть трудоизбыточные регионы и есть трудонедостаточные. Материальное стимулирование — эффективное средство, но оно должно быть стро-

го специализировано по регионам. Но есть и второй способ управления ситуацией. Я говорю о формировании общественной установки. На недавней конференции ЛГУ я высказывал эту точку зрения, за которую меня несколько критиковали: вот, мол, Чевачин недооценивает материальный стимул. Я же сказал примерно следующее: условия жизни наших бабушек и дедушек были много хуже, однако детей они имели много больше. И общественная установка на, как минимум, трехдетную семью мне кажется не менее важна и эффективна, чем материальное стимулирование. Только не поймите, что я выступаю против материальной поддержки многодетных семей. В ГДР она сработала великолепно, эта «драйкиндерсистем», когда денежный аванс, выдаваемый молодой семье, автоматически погашался с рождением детей, а третий ребенок вообще освобождал молодую семью от задолженности перед государством...

— То есть речь должна идти о правильном соотношении между материальным стимулированием и общественной установкой...

— Совершенно верно. Может быть, вы слышали о нашей программе «Население», которая должна иметь целью повышение продолжительности жизни, повышение общего уровня здоровья нашего населения и в том числе — увеличение его численности? Программа эта предусматривает и выработку общественной позиции, общественного мнения.

— Идея сама по себе прекрасная, но не будем отрывать от жизни: сегодня многие руководители смотрят весьма недоброжелательно, если его работницы начинают рожать. Нам известны случаи, когда на работу стараются не принимать женщину, если руководителю кажется, что она ждет ребенка.

— Да, с этим приходится сталкиваться: некоторые директора целиком и полностью «за», но... не в его коллективе.

Мы часто употребляем выражение «рабочая сила», «трудовые ресурсы» и так далее. Но ведь это живые люди, мужчины и женщины, со своими требованиями к жизни... Вот это забывается. Социальный аспект понимается многими

хозяйственниками своеобразно. Рабочая сила им нужна, но желательно, чтобы она не женилась, не вышла замуж, не рожала детей, ничего не просила, особенно квартир. Такое отношение, конечно, надо решительно ломать. В этом и состоит смысл новой общественной установки.

— Мы сейчас с вами говорим практически о том конструктивном внимании к межнациональным проблемам, которое должно было бы быть и для руководства республики, и для ведомств, и для прессы всегда — и... которого не было многие годы. Все делали вид, что все тут в порядке, тогда как острота проблемы нарастала. Мы декларировали благоденствие межнационального содружества, а процессы, которые привели к печальным событиям 23 августа, нарастали. Управляемые ли они теперь!

— Вы льстите и мне и Госкомтруду, если считаете, что я сейчас же, на месте, смогу предложить исчерпывающую программу лечения болезни, которую мы так долго умалчиванием загоняли вглубь.

Строго говоря, тема эта не относится к сфере деятельности нашего комитета, но уж коль скоро мы договорились о широких рамках разговора... Я помимо смысла ленинских слов, который говорил, что в конфликтах, имеющих национальную окраску, как правило, немалая доля вины падает на большую нацию. И я придерживаюсь такой точки зрения: если мы хотим докопаться до корней любого явления, в том числе и тех, что имели место 23 августа, то одной лопаты тут не хватит... Может быть, посмотреть и на самих себя? Многие на эту тему точно и глубоко сказано в статье секретаря ЦК КП Латвии Горбунова. Но уж коли начали, я продолжу. Миграция в Латвию сходит на нет, но ставить на ее пути какие-то барьеры, я считаю, и аполитично, и опасно. А вот искусственно создавать ее никто не собирается. Впрочем, никто этого и не делал. Такое положение сложилось в силу отсутствия рычагов управления трудовыми ресурсами; не было организации, которая все время думала бы об этом, считала бы

ее своим родным делом. И разве мы не давали представителям коренной национальности поводов обижаться на нас? Я знаю некоторых товарищей, которые проживают здесь аж с сорок шестого года, приехали сюда помогать восстанавливать хозяйство, отличные специалисты, но вместе с огромным спасибо за их труд, правомерно задать им вопрос: «Как же ты так умудрился — за столько лет не выучить даже обиходного латышского языка?» Ни бельмеса, ни гугу, как говорил Высоцкий... Не надо перегибать палку и в другую сторону — мы помним и пятидесятые годы, когда велась более чем странная кадровая политика: хоть и дурак полный, но только чтобы не был русским. Еще одна причина объективно-историческая, но мы и ей не уделяли достаточного внимания, мало говорили правды о прошлом... И мало кто из историков изучает во всем многообразии суть процессов, происходивших в республике, — из известных широкой публике могу назвать Жагарса, одного из немногих, который старается изменить сложившиеся стереотипы. Смотрел я недавно передачу «Горизонт» нашей студии, где ребята из школ и ПТУ задавали вопросы по истории. И ребята хорошие, и вопросы искренние, хоть и наивные... С ними очень серьезно говорили, отвечали на все вопросы — но где эта передача была до 23 августа?

— Беседа наша завершается, но мы хотели бы, Валерий Николаевич, оставить за собой право еще раз вернуться к некоторым ее темам и аспектам. Ведь «трехступенчатая» структура нашего разговора — грядущее сокращение, трудовые ресурсы и демография вкупе с межнациональными отношениями — неминуемо предполагает столкновение различных точек зрения. Мы вполне допускаем, что у некоторых наших читателей имеется свой подход к выказанным проблемам, свои оценки...

— Ну что ж, тогда — до будущих встреч...

Беседовал с В. Н. Чевачиным
ил. ПОЛОЦК

ПО ПОВОДУ РУБРИКИ. Пусть не пугает читателя сухое академичное слово «кафедра», вынесенное в заглавие нового раздела журнала. Из всех его значений нам важно лишь то, которое говорит о кафедре как о месте публичного выступления в аудитории. То есть речь идет о трибуне с ее особой открытой спецификой, дающей возможность произнести слово, речь, в конце концов проповедь — по любому из нравственных аспектов нашей жизни. Мы предполагаем приглашать «на кафедру» авторитетных людей со всем их опытом и широтой мышления.

Редакция считает целесообразным иметь такую трибуну в своем журнале, оставляя за собой право высказывать собственное мнение, если в этом возникнет необходимость.

Григорий НИКИФОРОВИЧ,
доктор биологических наук
(Институт органического синтеза
АН Латвийской ССР)

ПРАВО БЫТЬ ДРУГИМ

Выбор чтения в наши дни труден по совершенно необычной причине: глаза разбегаются. Время сорвало многие запреты, и первым и пока, пожалуй, единственным результатом стал резко возросший интерес к слову. (Как уже говорилось однажды, «вначале было слово».) Особый интерес вызывает «стирание белых пятен» — в истории, экономике, литературе. Библиотечные очереди за слегка беллетризованным учебником новейшей истории — романом А. Рыбакова «Дети Арбата» — уравнивают всех: от школьников до пенсионеров Министерства внутренних дел. И это справедливо — мы хотим знать правду о времени, в котором довелось жить нашим дедам, отцам, да и нам самим.

Однако правда о времени неотделима от правды о людях: время формирует характер человека, но и люди влияют на характер времени. Невозможно представить себе «период застоя», как его теперь стыдливо называют, без нашей привычки к душевной лени, которая оправдывалась спасительной формулой «а что я могу сделать». Сегодня

спрятаться за такой формулой уже гораздо труднее: появилась редкая возможность действительно сделать что-то — стереть «белые пятна» в своем взгляде на мир и задуматься не только над тем, что вокруг нас, но и над тем, что внутри. Особенно грешно было бы упустить эту возможность тем, кто помоложе: последний раз она предоставлялась четверть века назад, и уже целое поколение успело с тех пор прийти на смену — поколение, выросшее не поднимая глаз.

Разумеется, когда шлюзы открылись, вместе с объемом потока увеличилась и его замутненность: в первых рядах борцов за перемены безошибочно оказались те, кто когда-то сделал карьеру как раз на воспитании незыблемости основ. Они уже успели поставить себе в заслугу скорость перестройки собственных взглядов и объяснить былое непомерное славословие по одним поводам вынужденным молчанием по другим. Но важен, в конце концов, не сам поток, а золотые крупинки, которые он несет и которые могут стать исходной точкой размышления о том, что внутри.

В этом смысле очень многого стоит небольшая, на семь с половиной страниц, публикация «О Пастернаке», напечатанная в восьмом номере журнала «Нева» за 1987 год и подписанная малоизвестным, к нашему стыду, именем — В. Барлас. К стыду — потому что ясность и глубина мысли, сосредоточенной на этих страницах и подкрепляемой четкостью изложения, какой недостает многим так называемым художественным произведениям, дают основания думать, что В. Барлас был из числа лучших литераторов своего времени. «Был» здесь написано судя по внешним приметам: под работой указана дата 1978 — и примечание: «Публикация Е. Я. Барлас».

Поэзия Бориса Леонидовича Пастернака никогда не пользовалась у читателей сверхпопулярностью, свойственной нынешним кумирам массовой культуры. Однако по крайней мере однажды его имя оказалось на устах даже тех, кто завершил свое знакомство с литературой на уровне начального образования. Эта «известность» стала самым тяжелым испытанием в жизни поэта, закончившего к середине пятидесятых годов роман «Доктор Живаго». Роман был отвергнут отечественными редакциями, но зато напечатан на Западе, где и вызвал широкий резонанс. Мало того, в 1958 году Шведская академия присудила Б. Пастернаку Нобелевскую премию по литературе (второй лауреат в истории русской литературы после И. Бунина). Реакция последовала незамедлительно: поэт был вынужден публично отказаться от премии в связи с кампанией протеста против ее присуждения, развернутой литературными и общественными кругами. В редком трудовом коллективе по всей стране не клеймили роман Б. Пастернака (разумеется, не читая — прочесть было негде), а его автора награждали эпитетами, которые невозможно теперь воспроизвести в печати. Московская организация Союза писателей подавляющим большинством голосов изгнала Б. Пастернака из своих рядов, и в сообщении о его смерти, помещенном спустя два года в «Литературной газете», отсутствовали обязательные слова «с прискорбием».

Не прошло и тридцати лет, как это досадное недоразумение было исправлено: стараниями комиссии по литературному наследию решение об исключении Б. Пастернака торжественно отменено и тем самым поэт посмертно уравниен в правах со своими поньше уважаемыми коллегами, дружно проголосовавшими когда-то «за». Реабилитирован и роман, объявленный к печати в журнале «Новый мир» и к инсценировке в Ленинградском БДТ. Но в 1978 году, когда В. Барлас писал свою статью, такой хэппи-энд трудно было предвидеть, а на обложке Б. Пастернака прочно лежало пятно — скорее черное, чем белое, — той давней «широкой кампании», в которой принимали участие отнюдь не только не ведающие, что творят. И В. Барлас пытается объяснить сам себе, как могло случиться, что во времена, когда, как он пишет, уже «не существовало реальной угрозы жизни или свободе человека за неуместное, хотя бы и публичное высказывание, и тем более — за неучастие в хоре высказываний уместных», многие литераторы все же сочли необходимым добавить свою вязанку хвороста к костру, на котором сжигали поэта.

Ответ, найденный В. Барласом, настолько ясен и психологически точен, что его остается лишь процитировать, пусть даже и не целиком: «Каждый из нас, приспособляясь к жизни, вынужден отказываться от некоторых личных устремлений. Но сама возможность такого самоограничения существенно зависит от уверенности в том, что и никому из тех, кого мы причисляем к своему кругу, не должно сойти с рук «своеволие» того рода, что мы в себе подавили. Это стремление «сделать запрет абсолютным» побуждает испытывать к «нарушителю правил» тем большее раздражение, чем труднее нам было привыкнуть их соблюдать».

Иными словами, даже если бы идеологическое начальство не слишком настойчиво подавало сигнал к травле Б. Пастернака, его поступок был бы тем не менее решительно осужден родным писательским коллективом, причем вовсе не за официально признаваемые грехи, а уже за сам факт отклонения от нормы.

Действительно, если член коллектива, поступив необычно и даже отчасти предосудительно, добился успеха, перед остальными встает необходимость самоутверждения: либо отвергнуть существующий свод правил и устремиться по пути, открытому смельчаком, либо, наоборот, расправиться с ним, объявив правила стоящими выше критики, несмотря на собственное понимание возможной полезности перемен. Выбор не вызывает сомнений: на новом пути придется снова доказывать свою состоятельность, квалификацию, проявлять смелость, талант и многие другие совершенно не нужные для сохранения нынешнего положения качества. И кроме того, придется признать чрезвычайно неприятное обстоятельство: смельчак не такой, как мы, он — другой, и в чем-то, может быть, даже лучше.

Увы, нарисованная картина вовсе не утратила актуальность за тридцать лет: оставаться другим — по-прежнему самый большой проступок в глазах практически любого коллектива. Такое мнение начинает формироваться рано, еще с детских лет. И как показывают психологические исследования, вполне успешно. Стандартный эксперимент по проверке способности ребенка отстоять свое право быть другим, состоит в следующем: педагог заранее договаривается со всеми детьми, кроме одного, что на вопрос, какого цвета зеленые груши на картинке, они будут отвечать «синие». Результаты, как правило, таковы: пяти-шестилетки упорствуют, называя груши зелеными, невзирая на то, что отчетливо слышат ответы остальных; в начальных классах число упорствующих постепенно спадает практически до нуля; а к пятому-шестому классу испытуемые уже охотно соглашаются, что дважды два равно пяти, прекрасно усвоив, что единодушие куда важнее истины. Правда, дети почти всегда надеются, что это какая-то шутка или недоразумение, которое педагог позже разъяснит; некоторые из них, став взрослыми, сохраняют ту же надежду.

Впрочем, и без всяких экспериментов понятно, что на nive воспитания, основанного на принципе «коллектив — все, единица вне коллектива — ничто» (как формулирует

В. Барлас), чуть ли не самые обильные плоды принесет лицемерие. Ведь, как быстро выясняется, до самого пионера никому нет дела: важно лишь, чтобы он был всем ребятам пример. И для комсомольца главное, чтобы он не «подвел коллектив» в том смысле, в каком это словосочетание обозначало предел падения литературного героя романов пятидесятых годов. Поэтому давайте как можно шире тиражировать опыт А. С. Макаренко, который сумел превратить разношерстных правонарушителей в достойных членов коллектива школы-колонии, и, наоборот, забудем идеи другого великого педагога, Я. Корчака, призывавшего воспитывать индивидуальность. И нечего при этом обращать внимание на то несущественное обстоятельство, что не все потенциальные объекты воспитания — правонарушители, так же как и не все школы построены по образцу колоний.

Но деятельности одной педагогики с приданными ей частями и подразделениями все же никогда не хватало для возникновения по-настоящему здорового коллектива — такого, члены которого горды исключительно тем, что они являются его членами (в то же время именно такая модель коллектива очень удобна с точки зрения управления им). И тогда на помощь приходит тяжелая артиллерия литературы и искусства. Среди многих сотен и тысяч романов, поэм и ораторий вряд ли удастся насчитать десяток таких, где правота коллектива ставилась бы под сомнение. А если все шагают в ногу, то сразу видно, кто идет не в ногу. И дальше уж совсем просто выявить тех, кто «против нас»: это те, «кто не с нами».

Вот теперь все в порядке. Теперь коллектив сплочен, единодушен (что, как уже отмечалось, важнее всего), дружно движется в заданном направлении и не позволит кому бы то ни было нарушить свое единство. Кто там шагает правой?левой, гражданин Пастернак!левой!левой!

Казалось бы, больше желать нечего: единообразие достигнуто и ценность человека отныне измеряется мерой его растворения в коллективе. Но, к сожалению, не всем людям это приходится по вкусу. Человеку почему-то не всегда нравит-

ся, что в нем видят не Ивана Ивановича Иванова, а безликого сотрудника, квартиросъемщика, покупателя, даже избирателя... Иногда вызывает раздражение полностью закономерная в создавшейся ситуации фраза: «Вас много, а я одна» — из уст, например, чиновной дамы в райисполкоме. А некоторые недовольны тем абсолютно естественным фактом, что, как засвидетельствовали еще И. Ильф и Е. Петров, пиво продается только членам профсоюза.

Однако крикунов и смутьянов всегда немного, зато большинство членов коллектива прекрасно чувствуют себя под его надежным прикрытием. Это и в самом деле очень удобно: по крайней мере на знаменитый вопрос: «Кто шил костюм?» можно со спокойной совестью ответить: «Мы!», не рискуя при этом ни рублем, ни положением, ни душевным комфортом. Если же что не так — это, опять-таки, дело коллектива, потому как «а что я могу сделать»; впрочем, такая формула хорошо усвоена нами за последнее двадцатилетие.

Интересно, что даже вечные возмутители спокойствия — молодые — в наши дни хоть и стремятся выделиться из общей массы, но все равно пытаются совершить это коллективно, а не по одному. Документальный фильм «Легко ли быть молодым?» с этнографической точностью зафиксировал боевую раскраску и другие внешние приметы панков, фанатов, металлистов и прочих племен; однако самой большой индивидуальностью среди героев фильма неожиданно оказался скромный и убежденный в любви к людям юноша, которому ранняя смерть не позволила пройти путь не ярким, зато самостоятельным путем: школа, мединститут, работа. Остальные персонажи почти всегда вызывали интерес только как представители своего «племени», ибо даже наиболее отчаянные рефлекторно ощущали себя составной частью пусть необычного, но коллектива и искренне удивлялись, а порой и обижались, когда речь заходила о личной ответственности.

А если уж совсем всерьез, пренебрежение правом человека на отклонение от среднего, осуждение других просто за то, что они — дру-

гие, неизбежно приводит к тому, что «серые начинают и выигрывают», как остроумно (хоть и несправедливо) выразился один международный гроссмейстер о другом. И мы полной мерой расплачиваемся за этот выигрыш — застоим в экономике, парализованной общественной жизнью, урезанной культурой и, что самое печальное, изуродованными представлениями о нормальных отношениях между людьми, которые остаются все-таки разными: Петр похож на Ивана не больше, чем Петер на Яниса. И до тех пор, пока в нашем сознании — в сознании каждого из нас — не будет стерто любое пятно желания во что бы то ни стало вести принципиальную борьбу со всеми индивидуумами, хоть немного отходящими от твердо установленного всеобщего среднего уровня, нам не стоит всерьез говорить о грядущих переменах.

Будет жаль, если сказанное воспримется как предание анафеме понятия «коллектив»: просто хотелось бы, чтобы коллектив состоял не из тех, кто смирился с положением нуля, а из единиц, причем, как это ни странно звучит с математической точки зрения, единиц неодинаковых. Впрочем, даже математика утверждает, что какое-то значение может иметь лишь сумма единиц: любая, даже очень коллективная сумма нулей всегда будет по-прежнему равна нулю.

Конечно, быть единицей трудно, подчас даже опасно: это еще один урок судьбы Б. Пастернака. Гораздо проще быть нулем, притом нулем, уверенным в правоте и окруженным такими же убежденными нулями. Точнее, было проще. С некоторых пор стало как-то неуютно ощущать себя круглым. Все сильнее тянет выпрямиться в единицу. Однако в этом случае будь готов к тому, что рано или поздно тебе придется отвечать за себя самому — разве что движение жизни в очередной раз приостановится.

А пока... пока у нас в стране все еще нет памятника Борису Пастернаку. Это огорчительно. Но если вспомнить о нулях, поднявших руку на памятник Александру Чаку в Риге, поневоле начинаешь думать, как трудно везде и во все времена судьба личности даже после смерти.

РОМАН В РАССКАЗАХ: О ПРОЗЕ ЗИГМУНДА СКУИНЯ

Исследовав идеи и образы Зигмунда Скуиня, критика указала литературный ряд, в котором место писателя — в непосредственной близости с В. Ламом и А. Бэлом — определено по расчету. Сам Скуинь, находящий философское применение даже сухим канцеляризмам, назвал бы этот расчет «безналичным». Читателю, ожидающему от Скуиня как от представителя этого ряда детального исследования жизненного пространства, предлагается исследование деталей, которые преобразуют жизненное пространство в драматическую феерию, заключающую в себе Домыслы и Догадки, Фантазии и Вариации. Миры, населенные несовершенными человеческими «моделями», и Антимиры с обитающими в них «сверхэффективными агрегатами»... Пускаясь в столь дальний отрыв от реальности, Скуинь рассказывает о той ирреальности, что окружает нас в повседневной жизни, ведь устойчивая «схема человека», которая не поддается ни «централизованному программированию», ни «техническому совершенствованию», постоянно испытывает перегрузки, приводящие к эмоциональным аномалиям, — и вот нам уже мерещатся привидения! Препевает реконструкции, расшатывающие наши нервы, — и вот мы уже не удивляемся, встречая человека, для которого «честь» — историческое понятие...

«Этот безумный, безумный, безумный мир...» Каких только философ-

ских теорий (и блестящих художественных трактатов) не создано в начале века его ровесниками и провозвестниками обреченности «потрянутого» человечества и гибели мира... Опутанный противоречиями, он живет «без героя», и эта безличная жизнь пуста, как пуста и человеческая личность, сокрушенная всеми преградами. Забившись в арьергардные ряды, современные авангардисты, как и их предшественники, утверждают, что мир расплзается по швам, — и изображают эти «швы» со скорбным безучастием; современные реалисты, исследующие мир с иных точек зрения, ищут и находят соединительные звенья, придающие миру, и нашему существованию в нем, «смысл и слитность»...

К традиционному литературному приему: на абсурдность реальных явлений отвечать абсурдностью литературного построения, Скуинь относится как к... абсурду, ведь мир в его произведениях (воссоздающих жизнь в формах самой жизни, и потому — гармоничных) отторгает абсурд, как нездоровые клетки.

«— Нет, Юхан, — произнес я (герой рассказа и автор. — Э. С.). — Дело обстоит совсем не так! Быть может, есть доля правды в том, что человечество пришло к великим открытиям слишком рано, до того, как закончилась схватка между старым — и отжившим — и новым — растущим. Но это не повлияет на исход самой схватки. И мир не

провалится в тартарары. Спокойствие, Юхан, спокойствие!..»

В романах Скуиня, основанных на круге проблем, который кажется его героям «заколдованным», колдовство не рассеивается, как не рассеивается и эгоцентристский «туман», окутывающий их бытие. Завершая свои романы притчевой кодой, выразительной, как немая сцена, в которой действующие лица оглядываются на свои действия, застыв в изумлении: как же могло случиться такое?! Кто же виноват в случившемся! — Скуинь возвращает читателя к сюжетному началу, содержащему ответ на эти вопросы: случилось, как мы понимаем, то, чего не могло не случиться, ведь «любое решающее событие — распустье для тех, кто в это событие оказался втянутым. Но еще задолго до исхода бесчисленные случайности и сплетения обстоятельств подталкивают каждого участника именно в том направлении...» Замкнутые на самих себе, романские герои Скуиня живут в окружении привычных забот, и разомкнуть этот круг автор романа, который разделяет (в отличие от Скуиня-рассказчика) точку зрения героев, не в состоянии.

В рассказах Скуиня, передающих в отличие от романов не «отдаление от начал», а приближение к ним, не логику персонажа, а логику событий, этот «заколдованный» круг размыкается сам собой: «Спокойствие, Юхан, спокойствие...» — «мир не провалится в тартарары...»

Бегущие строчки авторской речи (в романах особенно стремительной) едва поспевают за нашими метаниями, «информационный» слог фиксирует информацию, становящуюся для нас объективной реальностью, и реальность, кажущуюся нам недостаточно поэтичной. Жизнь, подобная отлаженной ленте конвейера, «бежит быстрее, чем успеваем любить...» Не мудрено, что в такой экстремальной обстановке человек с трудом находит ориентиры и лишь смутно сознает, что «живет в двух мирах — в действительном, вполне осязаемом мире, а равным образом и в каком-то другом мире — иллюзий, допущений, оптических обманов, в том мире, который в наш реальный век стал действительностью...»

Поэт Марис Чаклайс, живущий в таком же «нецельном мире» и так же, как Скуинь, к нему относящийся, облегченно вздыхает при виде... белых гусей: «четыре гуся — лучше души расцветверенной!» И как похожи эти «четыре белых гуся» на нарисованную Скуинем «лошадь на стене» — в них та же тоска по утраченному и жажда цельности.

Недурно после бурных культурных ассамблей увидеть всю наивность травинки и ветвей!

И вот в поток зеленый, в пьянящий примитив влывает взгляд, как лодка, волны не замутив...

В прозе Скуиня, организованной по образу и подобию нашей жизни (ведь литература всегда похожа на нас!), лирических отступлений нет, хотя диспозиция автора всегда неожиданна (обернувшись, как бес, мелкой мошкой, он может оказаться даже на ветровом стекле автомобиля) и открывает то, что обыкновенному взгляду недоступно. Писательский слух воспримчив к звукам, исполненным всеобщего смысла... «Я не имею в виду ни «нас», ни «их», — отвечает автору «Юхан с острова Рухну». — Я говорю о человечестве, а человечество на сегодняшний день — это и «мы», и «они»...» Ориентируясь на едва различимые колебания среды — на шелест ветра, шум дождя, птичий щебет, доступные, как правило, лишь поэтическому слуху, Скуинь воссоздает поэтическое «поле», которое придает его прозаическим текстам особый «смысл и слитность». Не оттого ли фантастические рассказы Скуиня кажутся нам документальными, а «недокументальные», но несомненно реалистические — фантастическими?..

«Когда я мало-помалу стал приходить к заключению, что обладаю способностью предвидения, — рассказывает герой рассказа «Предвидение», — я это, разумеется, не считал чем-то сверхъестественным: не столь я наивен, чтобы впасть в дешевый мистицизм, верить во всякие там фокусы ясновидения. Мною руководило самое обычное любопытство.

Интуиция, предчувствие — что говорить — вещи бесспорные, но где начало их, где конец?..»

Рассказывая о том, что он видит, — и здесь, по формальным признакам, сходство Скуина с его коллегами А. Бэлом и В. Ламом бесспорно, — прозаик исходит из своих предвидений, и это сближает его творческую манеру с поэзией, для которой увиденное — лишь следствие предвиденного. И четыре белых гуся Мариса Чаклайса, и лошадь на стене Скуина, созданные по воображению, реально существуют, потому что земная жизнь, какой бы прозаической она нам ни казалась, устроена по художественным законам. Потому и томит нас «жизнь», движущаяся как отлаженная лента конвейера, что это жизнь конвейера или (как всякую допустимую вероятность, Скуинь это «или» персонализирует)... сверхэффективных агрегатов, о которых рассказывается в «Замороженном человеке».

Спасаясь от мира, «чья сущность так сложна», Умберто Цветини оказывается среди существ, у которых вместо тел — обтекаемые формы, а вместо душ — сверхэффективные датчики... Унифицированные конструкции, функционирующие в рамках заданной программы, доводят живого человека до петли, из которой его вынимает автор, чтобы дать возможность умереть своей смертью, обрета свободу в мире, забывшем о ее существовании. История эта, конечно же, невероятная, и, прошившись с Умберто Цветини, рассудительный читатель «поймает» автора на том, что уж этому-то предвидению сбыться в действительности не суждено. А между тем это самое что ни есть «житейское дело», и до того, как стать «человеком со знаком качества» (чем не суперион?), Гунар Калный был простым рабочим. Правду сказать, он не очень-то общителен, но зато высоки его трудовые показатели; он несостоятелен как личность, но зато точно соответствует номенклатурной единице, которую коллектив решил отметить высокой наградой. Подвергнутый техническому усовершенствованию, Гунар быстро адаптировался в предложенных обстоятельствах: изменились его манеры — он стал самоуверен; завелись, взамен старых, но-

вые обыкновения: занять место в президиуме, на трибуне, в авангардном строю... Потеряв в результате трудовые навыки, Гунар приобретает навыки руководителя, и его вот-вот назначат на ответственный пост.

«...В один прекрасный день Калный при исполнении одной из многочисленных его обязанностей пришлось участвовать в обсуждении, на котором речь шла о внедрении в народное хозяйство новейших достижений науки. Хотя предложенный группе экспертов проект был обширен и многословен, суть его заключалась в следующем: для лучшего планирования ученые предлагали в будущем внести в электронный мозг унифицированный список всех граждан с важнейшими характеристиками, как то: год рождения, пол, образование, ученая степень, специальность, стаж работы и т. д. . .

— Информация, как вы понимаете, должна быть предельно краткой и существенно отражать действительное и потенциальное место каждого индивидуума в политико-экономической структуре, — пояснил референт».

Ну разве не похож этот изобретатель сортировальной машины на супериона-редактора, проводящего линию всеобщей роботизации и строго следящего за тем, чтобы суперионы-нулллары (нули), объединенные «унифицированным списком», не нарушали целостной структуры сверхэффективного общества?

У бывшего печника Умберто Цветини, старательно обращаемого суперионами-редакторами в супериона-нуллара, хватило духу на побег из зараженной бездуховностью местности, и свое последнее прибежище он обрел на кладбище в Стренчах. А бывшему токарю Гунару Калному престижная роль супериона-редактора пришлась по душе, хотя... жизнь, текущая, «как отлаженная лента конвейера», так стремительна, что душевные движения не успевают за ней и постепенно за ненадобностью отмирают. И только однажды, «вернувшись домой, Гунар Калный повел себя крайне странно: он был неразговорчив и рассеян, сел на диван, включил телевизор, хотя на экран почти не смотрел. Больше поглядывал в окно. Немного погодя он спустился в подвал и

долго копался в тряпье, пока не нашел свой старый пиджак, на лацкан которого когда-то в торжественной обстановке ему прикрепили орден.

Вернувшись в квартиру, Гунар Калнынь почистил запыхавшийся пиджак пылесосом и щеткой. Потом надел его, встал перед новым зеркалом в спальне и долго, пристально разглядывал себя. И его плотно сжатые губы покривила еле уловимая улыбка...»

Читателю, познакомившемуся с этой обыкновенной историей, которая случилась с самым обыкновенным человеком, может показаться, что ситуация, описанная в «Замороженном...», куда более реалистична, ведь суперионы облачены в смиренные рубашки — именно потому их формы так обтекаемы, а Умберто Цветини погребен неподалеку от дома для умалишенных. Согласитесь, что безумные идеи безумцев не так опасны, как проекты ученых референтов: для тех, кто мыслит в отведенные для этого часы, — а что, если в целях экономии такие часы будут упразднены? — эти идеи погубны. Доведенные до абсурда, они получают такое бешеное ускорение, что становятся господствующими и властвуют не только над теми, кто их защищает, но и над своими противниками.

Как всякий здравомыслящий человек, Скуинь противится тотальной ориентации, массовому психозу, роботизации духовных процессов... «В наш век, когда так сильна техника и так беспомощна литература», писатель изображает индустриальный пейзаж лирическими красками, невдомыми никаким ЭВМ, и... вычисляет с их помощью лирический коэффициент нашего деятельного существования. От его величины, как оказывается, и зависят наша человеческая ценность, наша цельность и наше душевное здоровье. А «централизованному программированию», изобретенному реально существующими суперионами, подвержены только суперионы, почитающие власть норматива, поскольку норматив заложен в них самих. Технократические теории в наш технический век особенно опасны, ведь, пренебрегая вечными вопросами ради практических, мы можем лишиться культурной памяти — и что нам тог-

да уроки истории, духовные ценности, высокие цели... Один из немолдых героев «Мемуаров молодого человека» ясно сознает последствия подобных ошибок: «...Сейчас толкуют о всяких кризисах. Никто не знает, что случится, когда иссякнут запасы нефти. Но я могу тебе сказать, что случится после того, как люди забудут латынь. Произойдет решительный поворот назад к варварству».

«Мемуары молодого человека» написаны от лица нашего современника, а современный человек еще очень молод и только начинает осознавать себя. Пытаясь ответить на вопросы, оставленные человечеством открытыми, он находит себе подобных не в будущем, куда устремлен, а в прошедшем, ведь «присутствие тайны неизбежно. Темнота, стеной окружавшая наших предков на удалении всего нескольких шагов от костра, к сожалению, окружает даже интеллектуала двадцатого столетия за пределами знаний и привычных представлений. Единственно, что время изменило, это соотношение известного и неизвестного...»

Фантазия Скуиня аналитична, и фоном описанных им реальных процессов нередко служит аллегорическая среда, кажущаяся нам фантастической, поскольку отраженная в ней реальность, как мысли, высказанные вслух, живет «самостоятельной жизнью». Устранив из поля нашего зрения все привычное и примелькавшееся, Скуинь укрупняет — никогда не гиперболизируя — существо явления, ведь «все непривычное (а также и все привычное, представшее в новом свете. — Э. С.) глаз схватывает острее, сознание удерживает крепче, чем то, что хорошо известно и знакомо». И, может быть, именно оттого, что литература, которая «в наш век так беспомощна», волей-неволей тиражирует типические черты и дублирует характерные приметы, критика и составляет столь разнородные литературные ряды: А. Бэл, З. Скуинь, В. Лам... Но ведь у Лама ни один волос с головы героя не упадет незамеченным, его «привычное» полно смысла, и писатель задерживается на нем, пропуская вперед — к непривычному — своего своенравного героя... А Бэл, наметив легкими штри-

хами характерные «контуры» героя, полностью сосредоточивается на сюжетных перипетиях, выстраивая на документальной основе «огромную барочную постройку со своими плавными, прерывистыми, барочными линиями...» Что же до нетипичных историй Скуиня, то в них сокрыта такая метафоричность, что для изображения их вполне достаточно прямой передачи, репортажной записи, а то и сухого «занесения» в протокол... Иносказательность, заложённая в материале, не нуждается в иносказательной трактовке, и именно поэтому литературная основа разрабатывается писателем, как документ. В аллегорической среде Скуиня мы видим людей, пришедших к определенной мысли в тот самый момент, когда она их посетила.

Герою «Вестника киноэкрана Боснии» открылось вдруг, что «он живет в двух мирах» — «в действительном... а равным образом и в каком-то другом...»

А Хрис Фаркаш, герой рассказа «Пьета», с мучительной ясностью осознает, что в нашем богоспасаемом мире спасется лишь тот, кто принесет себя в жертву, но... «мы разучились приносить жертвы, мы ко всему привыкли, мы конформисты и соглашатели...»

Живущий, как и Янис Марцен, «в мире иллюзий, допущений, оптических обманов», Хрис не обманывается относительно себя: он не возомнил себя Христом, хотя многие и приписывают ему эту роль; он живет настоящим, и призраки прошлого являются ему незваными: Каин, как и прежде, убивает Авеля, Иуда предаёт брата, а Сын Божий искупает людские грехи... Но «неужто никто не видит? Своей смертью он ничего не искупил! Да и не мог искупить, потому что те, кто хочет человеческих жизней, ни в грош их не ставят. Его обманули. Как и многих других до него. От его смерти выгадали только убийцы, они-то больше всех распинаятся о любви, милосердии, всепрощении...»

Скуинь показывает явление Христа полицейскому обществу, породившему тех, кто, распинаясь о любви, распинает ее: уже нет в живых Марии Магдалины — новоявленного Христа некому оплакать... Да и не

позволят Хрису Фаркашу проявить свою волю, его судьбу определяют те, кто распинается о всепрощении, даруя его только безропотным и послушным...

Рассудительный читатель, знакомый с «занимательным евангелием», найдет эту историю занимательной... как, впрочем, и один из героев Скуиня — инспектор Маркони, не скрывающий того, что его вмешательство в допрос Хриса «преследует единственную цель — потешиться»... Но что же потешного в том, что человек возлюбил своего ближнего? Да то, что, дав волю чувствам, это Маркони усвоил твердо, никогда не получишь повышения; не предавая других — предашь собственные интересы, а они для Маркони превыше всех христианских заповедей...

«22 марта 1972 года в соборе св. Петра в Риме неизвестным была разбита молотком «Пьета» Микеланджело — скульптура богоматери, оплакивающей Христа...»

Начав свой рассказ с этого информационного сообщения, Скуинь не иллюстрирует его, обращаясь к развернутой метафоре, а находит скрытую метафору, заключенную в нем самом: потерявший веру человек разбивает символ этой веры. Веса правосудия, захваченные властолюбцами, склоняются к обвинению их самих... В этом рассказе, «недокументальном», как его называет сам автор, но документированном историческими и историографическими фактами, Сын Божий — не просто аллегория (ведь о нем даже пишут в газетах!), а аллегория, ставшая реальностью. Как когда-то? А может быть, как всегда?..

В нашем «нецельном мире», разбивающем одну за другой иллюзии, а заодно и надежды, символом веры становится разбитая статуя: «В своем первоначальном виде, — говорит герой рассказа «Элегия», — она была «не более чем пресной банальностью. Теперь же — потрясающий символ». К словам героя этого рассказа можно добавить лишь то, что разбитая статуя символизирует... нерушимость веры... И нерушимость веры...

Сочинители литературных рядов, дружно отметившие приверженность Скуиня молодому герою, не заметили

того, что этот герой может быть не только немолодым (как, например, Большой в «Мемуарах молодого человека»), но и вечным. И объясняется это не тягой к мифологичности, которой так увлечена наша литература, а пониманием того, что мифологичность и беллетризм друг другу не противоречат, ведь миф только потому и жив, что в нем отражена существующая реальность.

Не случайно ведь дело Хриса Фаркаша не только взволновало следователя Бонелло, «но и заинтересовало, притом лично, будто сам он был замешан в нем и показания задержанного как-то могли повлиять на его собственную судьбу».

И в небольшом рассказе «Пьета», и в столь же аллегорической повести «Большая рыба», герой которой, так же как Бонелло, лично заинтересован в благополучном исходе «мифологического» действия, рассказывается о мире, чья «сущность так сложна», что постичь ее необходимо. Ведь «зло теряет над нами власть, если мы знаем, чем оно вызвано». И это вовсе не блажь писателя — мешать факты биографии своих героев с событиями тысячелетней давности: если из трагедий прошлого не извлечены уроки, они повторяются, и у каждой сегодняшней трагедии есть исторический «прообраз»...

«А если вопрос о перевернушемся суде одновременно есть вопрос о моей жизни? О том, что случится завтра, послезавтра...»

Героям Скуиня — и Хрису из рассказа «Пьета», и Магнусу Вигнеру из «Большой рыбы» — завтра и послезавтра открываются через реальность, в которой явственно проступают черты прошедшего. Исторические прообразы, чьи черты наследуют герои современной литературы — и в рассказах З. Скуиня, и в романах М. Зариня, воспринимаются нами как привычная историческая среда, к которой, как ко всему привычному, мы достаточно равнодушны. А ведь «жизнь — это бег безостановочный, а сердцу хочется что-то удержать...»

И вот в поток зеленый
в пьянящий примитив
вплывает взгляд, как лодка,
волны не замутив...

Историческая среда с ее устоявшимся «бытом» — изученным и понятным — оказывается не менее загадочной, чем среда природная, в которой мы живем, умиляясь «кnavностью травинки» и собственную глубокомыслию. Но любовь, как и прежде, остается недолюбленной, а зло, истоки которого нам неизвестны, и сегодня не потеряло над нами власть.

Новый «исполнитель», введенный современным автором на роль исторического или мифологического героя, не посвящен в авторский замысел: он приносит с собой собственную биографию — как Хрис Фаркаш у Скуиня или Кристофер Марло у Зариня — и в ней отражается прошлое, знакомое нам по настоящему. Подтекст, который в романах Скуиня удаётся обнаружить только аналитическим способом, — сопоставляя отдельные главы и осмысливая частные конфликты, — в рассказах, аналитических по самой структуре, находится не под текстом, а впереди него: сознательные действия героев опережают неосознанное и мотивируют бессознательное, логика событий, знакомая нам по историческим примерам, подсказывает ход их свободного развития... Свободного от авторского диктата, но не от логики...

Сделав своим главным героем логику событий, слагающуюся, как и высокая поэзия, из неприметного «сора» ошибок и огрехов, оплошностей и промахов, Скуинь приближает нас к законам естества, погружая — вспомним еще раз строки М. Чаклайса! — «в поток зеленый, в пьянящий примитив». В прозрачном воздухе прошлого, настраивающего наше деятельное сознание на созерцательный лад, эти законы проявляются зримо и... «лошадь на стене» оживает, становясь любимым конем Чингисхана.

Действие «Новеллы о коне Чингисхана» определяется периодами жизненной активности, овладевающей могущественным ханом и... всемогущей Природой: весной несметные полчища Чингисхана устремлялись к закату, «разоряя и грабя все, что попадалось на пути»; «с бурными ливнями, страшными ветрами надвигались холода» — и воинственный пыл завоевателя остывал... Кон-

фликт новеллы вызревает, как колос: стелются, подобно ковылю, полчища Чингисхана, вихрем уносятся лазутчики, нескончаемым потоком «катятся» конские крупы... Природа пробуждается к жизни, и сорная трава, как ей и положено, стремится заглушить добрые всходы... Она встает дружно — на то, чтобы посадить войска на коней, «уходило не более десяти ударов гонга»; наступает скопом — «будто из-под земли» извергается; движется ровным «унифицированным списком» — только пыль клубится да плывет «поверх голов испарявшийся пот».

Лишенные своей воли рабы сбиваются в полчища, как в стада, и своевольному Джебе не удается уйти от их расправы. «Навстречу пахнуло холодом бездны, а кони мчались, и с ними мчался Джебе, потому что теперь он уже был не Джебе, просто капля волны, катящейся в пропасть».

Воссоздав природный «календарь», не нарушая при этом природных — и литературных — законов, Скуинь формулирует основной закон природы именем ее самой: каждое живое существо, утратившее, как Джебе, смысл своего существования, — гласит этот закон, — утрачивает и право на него, ведь природа не равнодушна, как мы привыкли думать, а беспристрастна... И кто знает, может быть именно «равнодушие» природы есть то самое «веко», что служит защитой от «неразумных человеческих поступков»? «Меня учили, — рассуждает один из героев «Мемуаров...», — что человек — венец природы. А вдруг он всего-навсего изьян природы? Сбежавший из-под надзора опасный преступник? Маньяк, подпиливающий сук, на котором сидит?..»

Освободившись от многих иллюзий молодого человека, Большой тешит себя стариковскими иллюзиями, пытаясь объяснить необъяснимое и доказать недоказуемое, ведь иллюзии долговечны и вечно молоды...

Необъяснимое, сокрытое в «неразумных человеческих поступках», Скуинь не объясняет (ведь это было бы неразумно), а уценивает, сбивая с него спесивую торжественность то шуткой, то парадоксальным умозаключением, то алогизмом...

«Не каждый знает, что мы, бесы, тоже не чураемся писательства. И удивляться тут нечего, потому как страсть к писанине — порок весьма распространенный... Всеобщая неосведомленность о нашем вкладе в этой области объясняется, по моему, тем, что бесовская литература сравнительно мало переводится на другие языки и произведения наших классиков недостаточно популяризуются в массах...»

В рассказе «Элегия» (так же, впрочем, как и во многих других) Скуинь вживается в образ «необъяснимого» и оно самораскрывается, объясняя происходящее и раскрывая свою нехитрую в общем-то суть. Проказы мелкого беса, покуролесившего в молодости и усомнившегося в своей силе под старость, оборачиваются против него самого, ведь «человек — необычайно редкостный продукт, появившийся на свет в результате обручения закономерности со случайностью». И вполне закономерно, что никакие случайности (а именно бесы специализируются в этой области) не могут нарушить миропорядок: любовь на земле пребудет вечно, вера в добро необорима...

«Не допускаю и мысли, — говорит Большой, — что природа, этот скрупулезный селекционер, тщательнейшим образом отсеивающий физиологические свойства своих творений с целью постоянного их улучшения, остался бы равнодушен к оскудению критерия совести...»

Исследуя логику событий, анализируя закономерности, выявляя причины и следствия, Скуинь интуитивно обнаруживает звенья, укрепляющие миропорядок. Но «жизнь — это бег безостановочный, и гармония мира, скрытая от глаз, но доступная душе человека, открывается только тем, кто «живет в согласии со своими интересами, вдохновением и самочувствием». В романах Скуиня эти «эпизодические» герои находятся в тени, и, участвуя в создании атмосферы действия, почти не участвуют в нем самом. Неудивительно, что ответственные им незначительные роли не соответствуют их общественной значимости, хотя... и эта оговорка весьма существенна! — «маленький человек» в произведениях Скуиня мал только тогда, когда, удаленный от нас сюжетным пространством,

становится невидимым. В рассказах эти «эпизодические» герои выступают на первый план и оказываются (что вполне логично) значительнее своих романтических собратьев, у которых для эмоций и «посторонних» мыслей просто не хватает времени: жизнь движется, как отлаженная лента конвейера, и люди устают от назойливых впечатлений...

«Мы слушали весну, — размышляет герой «Мемуаров...», — как слушают новую песню. Потом эту песню станут повсюду распевать, и хотя будут повторены в точности и слова и мелодия, только прежних восторгов уже не будет, затем она вообще надоест и примелькается...»

Драгоценное для автора чувство новизны уходит из жизни героев, и неудивительно, что многие линии его романов прерываются, в точности передавая бытовую «рельеф», и нарушая (по мнению строгих критиков) рельеф романа. Высаженные подобно безбилетным пассажирам на ближайшей станции, герои многих латышских романов (и романов Скуиня в том числе) скрываются из виду, что по общепринятым литературным канонам недопустимо... В том случае, разумеется, если не допускать мысли, что билеты этих «пассажиров» выправлены именно до этой станции...

Отступив на почтительное расстояние от своих крупномасштабных соседей, рассказы Скуиня (подобные выпавшим из романа страницам),

«осмеливаются» дополнять и комментировать романы, обогащая не только их фон, — как правило, весьма условный, — но и само содержание: представляя события в кривых зеркалах парадокса, автор раскрывает парадоксальность общепринятых мнений и логику парадоксального. Нелучайно благими намерениями мужчины во цвете лет вымощена дорога в ад, а исчадие ада в рассказе «Элегия» сотворяет благо, само того не желая...

Рассказывая о том, чего он не знает (а именно этот «недозволенный» прием использован в большинстве рассказов Скуиня), автор пополняет свое знание изученного материала и продолжает его освоение. В таком «нецельном мире», как наш, целостное восприятие явлений доступно, как мы понимаем, лишь мастерам «широкого профиля».

Склонный к розыгрышам и мистификации, Скуиня предпочитает «мемуарной» литературе «бесовскую», где все происходящее сиюминутно, а сиюминутное неожиданно. Мемуары, фиксирующие обратное движение, томительны для него, как путь с ярмарки: «Об этом отрезке пути рассказывать нечего, одно слово: тоска зеленая...» Однако и этим — проторенным путем необходимо пройти, чтобы спасти героя от одиночества и разделить его печали, ведь «без соприкосновения с другими я и сам до конца не был самим собой...»

ПОЭТ О ПОЭТЕ

О ЯР

Ояр — это очень теплая и очень дружелюбная рука. Взгляд — любовно впитывающий (ему везло: он видит эту «водоросль»). У него есть стихи, в которых я бы цитировала каждую строчку («Диоптрии»), но кроме зрения (как у Тейяра де Шардена в «Феномене человека»: «Можно сказать, что в этом вся жизнь...») он наделен еще такой потребностью расти, то есть все усиливать проникновение во «внешнее тело человека» — природу и в

загадочные глубины духа, нравственности, что эта энергия постижения упирается наконец головой и плечами в верхнюю балку своих возможностей, как его лирический герой, проламывая крышу, туда, «где ветры вековые» («... Меня там как свечу задуют»).

Цецилия Кин, очерчивая литературную ситуацию в Италии последнего десятилетия, сообщает, в частности, что все ожидают 2000 года, который, по каким-то там мистиче-

ским календарям, знаменует начало **человеческой** эры, эры ВОДОЛЕЯ. Если бы это действительно было так, — а история располагает аргументами в пользу того, что людьми мы, строго говоря, еще не были, кроме отдельных из нас, оставивших след в видимом мире, — то Ояр — как раз из тех детей человечества, которые как следует развивались, увлеченно росли, стремясь достигнуть вершины своего состояния к тому моменту, когда исторически должен кончиться (быть может, вместе с миром) период рабства духовного и скотства физического. Когда наконец детей накормят.

И вот поэзия, эта сгущенная в образах философия, была для него предметом труда не умозрительно, но как-то вещно. Он орудовал мыслью, как лопатой. Латышскому поэту нескольких поколений свойственна крестьянская логика и языческая символика, да просто природная связь с землей. Но Ояр меньше всего стремится быть традиционным. Неумоимо он моделирует неудобные конструкции, требуя менять, теснить мир в его успокаивающих удобствах и привычных формулировках. А ведь сколько всего натерпелось это поколение!

Порядок вещей и явлений упорно учил нас терпению, чтоб в душах воспитывать зрение, а только потом — озарение.

Не стала, о нет, горемычною нам жизнь барахолкой казаться. Не вырастил душу тряпичную игривший тряпичными зайцами.

(Перевод Л. Азаровой)

Будучи «неудобным», в том числе и для перевода, он тем не менее открывал читателю не только Ояра Вацietиса, но и самого читающего. Он натолкнул меня своими стихами на одну мысль, которую я потом высказала в отрывке «На вершине корней». Переводя стихи его, которыми открывается и именем которых называется книга на русском языке, — я имею в виду «Письмена ветвей», стихи, от которых Люда Азарова отказалась по каким-то своим лирическим причинам, — я поразила косвенно возникшей при столкновении с этим текстом мысли

о том, что мы всегда находимся на вершине языка, доставшегося нам в обладание, на вершине своих корней. Так что для меня это не просто перевертыш, хоть на поверхности образа (в моем отрывке) — всего-навсего сидение в подвале, как бы на ветке корня. Или, мрачнее, — погружение молодости на уровень смерти. Но в подоплеке — размышление о языковых уровнях, об археологических уровнях культуры. И тут я поняла заодно, что индоевропейское языковое сообщество — далеко от языковости. На «языческом» уровне представлений — мы сходимся. И еще — что, живя здесь, невозможно быть «кнездешней». Я и прежде ощущала, что Прибалтика определенным образом увязала мое восприятие с этой землей. Нельзя не прорасти пространством. Замечу в скобках, что, будь мне предоставлена такая возможность, я бы продиралась и в цветные сны малайца, в гармоническое, если верить ученым, двуполушарное сознание японца и «сумчатое» — австралийца. Но Ояр мне, конечно, родствен, хоть в жизни мы встречались совсем немного. Даже заяц тряпичный был и у меня в детстве, горячо любимый. Но понимаю, что такое ощущение вызвано свойствами его личности. Ярко выраженным качеством человечности. Он ведь деливших землю называл большими. «Первая буква всех букврей — земля».

Интересно, что критик Лев Аннинский, с такой пронзительностью дававший характеристики многим поэтам и прозаикам, пишущим не на русском языке, не проник-таки «в душу» Ояра Вацietиса. Для него этот поэт во многом оказался закрыт. Здесь, конечно, дело в особенностях современной латышской поэзии в целом, в ее известной стилистической «закрытости» для русского читателя. И в том, что у Аннинского слишком широкий круг интересов для того, чтобы он мог тогда погрузиться с головой в то, что делал параллельно со своей тогдашней поэзией Ояр. В то время многие «кизощрялись», в том числе и в незэповой непроницаемости. Аннинский тем не менее их читал, вскрывал столовым ножом и более тонкими отмычками. А Ояра, огорошивающего правдой (конечно, ху-

В прошлом году наука семиотика в СССР отметила 25-летний юбилей. Настала пора для широкой популяризации этой молодой отрасли знания, тем более что на территории Прибалтики активно работают две семиотические школы — Тартуская и Рижская. Цель структурно-семиотических исследований — показать, как функционируют тексты культуры — литературные, музыкальные, эпистолярные, изобразительные, кинематографические.

Новую рубрику мы открываем статьей одного из родоначальников послевоенного семиотического движения в мире, главы Тартуской школы, профессора Юрия Михайловича ЛОТМАНА.

ТЕКСТ И СТРУКТУРА АУДИТОРИИ

Представление о том, что каждое сообщение ориентировано на некоторую определенную аудиторию и только в ее сознании может полностью реализоваться, не является новым. Рассказывают анекдотическое происшествие из биографии известного математика П. Л. Чебышева. На лекцию ученого, посвященную математическим аспектам раскройке платья, явилась непредусмотренная аудитория: портные, модные барыни и проч. Однако первая же фраза лектора: «Предположим для простоты, что человеческое тело имеет форму шара» обратила их в бегство.

В зале остались лишь математики, которые не находили в таком начале ничего удивительного. Текст «отобрал» себе аудиторию, создав ее по образу и подобию своему.

Значительно более интересным представляется обратить внимание на конкретные механизмы взаимоотношений текста и его адресата. Очевидно, что при несовпадении кодов адресанта и адресата (а совпадение их возможно лишь как теоретическое допущение, никогда не реализуемое при практическом общении в абсолютной полноте) текст сообщения деформируется в процессе дешифровки

его получателем. Однако в данном случае нам хотелось бы обратить внимание на другую сторону этого процесса — на то, как сообщение воздействует на адресата, трансформируя его облик. Явление это связано с тем, что всякий текст (в особенности художественный) содержит в себе то, что мы предпочли бы называть образом аудитории и что этот образ аудитории активно воздействует на реальную аудиторию, становясь для нее некоторым нормирующим кодом. Этот последний навязывается сознанию аудитории и становится нормой ее собственного представления о себе, переносясь из области текста в сферу реального поведения культурного коллектива.

Таким образом, между текстом и аудиторией складывается отношение, которое характеризуется не пассивным восприятием, а имеет природу диалога. Диалогическая речь отличается не только общностью кода двух соположенных высказываний, но и наличием определенной общей памяти у адресанта и адресата¹. Отсутствие этого условия делает текст недешифруемым. В этом отношении можно сказать, что любой текст характеризуется не только кодом и общением, но и ориентацией на определенный тип памяти (структуру памяти и характер ее заполнения).

С этой точки зрения можно выделить два типа речевой деятельности. Одна обращена к абстрактному адресату, объем памяти которого реконструируется передающим сообщением как свойственный любому носителю данного языка. Другая обращена к конкретному собеседнику, которого говорящий видит, с которым пишущий лично знаком и объем индивидуальной памяти которого адресанту прекрасно известен. Такое противопоставление двух видов речевой деятельности не следует отождествлять с антитезой: «письменная форма речи ↔ устная форма речи»^{1а}. Такое отождествление приводит, например, Й. Вахека к представлению об однотипности отношений: «Фонема/графема» и «устное сообщение / письменное сообщение». С этой позиции Вахек вступает в полемику с Соссюром, указывая на противоречие между положением о независимости языковых фактов от

материальной субстанции их выражения («если знаки и их соотношения представляют единственную ценность, они должны получить единообразное выражение в любом материале, в том числе, следовательно, и в письменных, соответственно буквенных знаках») и отчетливым структурным различием в природе письменных и устных сообщений («в противовес этому следует указать на то обстоятельство, что письменные высказывания — по крайней мере у культурных языковых коллективов — обнаруживают известную независимость по отношению к устным...»²). Природу этой последней автономии Й. Вахек объясняет так: «Устное высказывание состоит в том, чтобы как можно более непосредственно реагировать на тот или иной факт; письменное же высказывание фиксирует определенное отношение к той или иной ситуации на более длительный срок»³.

Однако графема и текст (письменный или печатный) — явления принципиально различные. Первая принадлежит языковому коду и действительно безразлична к природе материального воплощения. Второй является функционально специфическим сообщением. Можно показать, что свойства, отличающие письменное сообщение от устного, определяются не столько техникой экспликации, сколько отношением к функциональному противопоставлению: «официальное ↔ интимное». Свойство это определяется не материальной данностью выражения текста, а отношением его к противопоставленным по функциям текстам. Такими противопоставлениями могут быть: «устное ↔ письменное», «ненапечатанное ↔ напечатанное», «заявленное ex cathedra ↔ доверительное сообщение». Все эти противопоставления могут быть сведены к оппозиции «официальное = авторитетное ↔ неофициальное = неавторитетное». Показательно, что при составлении оппозиций: «устное ↔ письменное (рукописное)» и «письменное (рукописное) ↔ печатное», рукописное в одном случае выступает как функционально равное печатному, а в другом — устному.

Представляется, однако, уместным указать на зависимость в выборе этих функциональных групп от ха-

рактера адресата, конструируемого самим текстом. Общение с собеседником возможно лишь при наличии некоторой общей с ним памяти. Однако в этом отношении существуют принципиальные различия между текстом, обращенным к любому адресату и тем, который имеет в виду некоторое конкретное и лично известное говорящему лицо. В первом случае объем памяти адресата конструируется как обязательный для любого, говорящего на данном языке. Он лишен индивидуального, абстрактен и включает в себя лишь некоторый несократимый минимум. Естественно, что чем беднее память, тем подробнее, распрощаннее должно быть сообщение, тем недопустимее эллипсисы и умолчания. Официальный текст конструирует абстрактного собеседника, носителя только лишь общей памяти, лишенного личного и индивидуального опыта. Такой текст может быть обращен ко всем и каждому. Он отличается подробностью разъяснений, отсутствием подраумеваний, сокращений и намеков и приближенностью к нормативной правильности.

Иначе строится текст, обращенный к лично знакомому адресату, к лицу, обозначаемому для нас не местоимением, а собственным именем. Объем его памяти и характер ее заполнения нам знаком и интимно близок. В этом случае нет никакой надобности загромождать текст ненужными подробностями, уже имеющимися в памяти адресата. Для актуализации их достаточно намека. Будут развиваться эллиптические конструкции, локальная семантика, тяготеющая к формированию «домашней», «интимной» лексики. Текст будет цениться не только мерой понятности для данного адресата, но и степенью непонятности для других⁴. Таким образом, ориентация на тот или иной тип памяти адресата заставляет прибегать то «к языку для других», то к «языку для себя» — одному из двух скрытых в естественном языке противоположных структурных потенциалов. Таким образом, владея некоторым, относительно неполным, набором языковых и культурных кодов, можно на основании анализа данного текста выяснить, ориентирован ли он на «свою» или на «чужую» аудиторию. Реконструируя характер

«общей памяти», необходимой для его понимания, мы получаем «образ аудитории», скрытый в тексте. Из этого следует, что текст содержит в себе свернутую систему всех звеньев коммуникативной цепи, и, подобно тому, как мы извлекаем из него позицию автора, мы можем реконструировать на его основании и идеального читателя. Текст, даже взятый изолированно (но, разумеется, при наличии определенных сведений относительно структуры создавшей его культуры), — важнейший источник суждений относительно его собственных прагматических связей.

Своеобразно усложняется и приобретает особое значение этот вопрос в отношении к художественным текстам.

В художественном тексте ориентация на некоторый тип коллективной памяти и, следовательно, на структуру аудитории приобретает принципиально иной характер. Она перестает быть автоматически имплицированной в тексте и становится значимым (т. е. свободным) художественным элементом, который может вступить с текстом в игровые отношения.

Проиллюстрируем это на нескольких примерах из русской поэзии XVIII — начала XIX вв.

В иерархии жанров поэзии XVIII в. определяющим было представление о том, что, чем более ценной является поэзия, тем к более абстрактному адресату она обращается. Лицо, к которому обращено стихотворение, конструируется как носитель предельно абстрактной — общекультурной и общенациональной — памяти⁵. Даже если речь идет о вполне реальном и лично поэту известном адресате, престижная оценка текста как поэтического требует обращаться к нему так, словно адресат и автор располагают общей памятью лишь как члены единого государственного коллектива и носители одного языка. Конкретный адресат повышается по шкале ценностей, превращаясь в «одного из всех». Так, например, В. Майков начиняет стихотворение, обращенное к гр. З. Г. Чернышеву:

О ты, случаями испытанный герой,
Которого видал вождем
русский строй
И знает, какова душа твоя велика,

Когда ты действовал против
Фридерика!
Потом, когда монарх сей нам
союзник стал,
Он храбрость сам твою и разум
испытал⁶.

Предполагается, что факты биографии Чернышева не содержатся в памяти Чернышева (поскольку их нет в памяти других читателей), и в стихотворении, обращенном к нему самому, поэт должен напомнить и объяснить, кто же такой Чернышев. Опустить известные и автору и адресату сведения невозможно, так как это переключило бы торжественное послание в престижно более низкий ряд нехудожественного текста, обращенного к реальному лицу. Не менее характерны случаи сокращения в аналогичных текстах. Когда Державин составил для гробницы Суворова лапидарную надпись «Здесь лежит Суворов»⁷, он исходил из того, что все сведения, которые могли бы, согласно ритуалу, быть начертаны на надгробии, вписаны в общую память истории и государства и могут быть опущены.

Противоположным полюсом является структурирование аудитории, осуществляемое текстами Пушкина. Пушкин сознательно опускает как известное или заменяет намеком в печатном тексте, обращенном к любому читателю, то, что заведомо было известно лишь очень небольшому кругу избранных друзей. Так, например, в отрывке «Женщины» (из первоначального варианта IV гл. «Евгения Онегина», опубликован в «Московском вестнике», 1827, ч. V, № 20, с. 365—367) содержатся строки:

Словами вещего поэта
Сказать и мне позволено:
Темира, Дафна и Лилета —
Как сон, забыты мной давно⁸.

Современный нам читатель, желая узнать, кого следует разуметь под «вещим поэтом», обращается к комментарию и устанавливает, что речь идет о Дельвиге и подразумеваются строки из его стихотворения «Фанни»:

Темира, Дафна и Лилета
Давно, как сон, забыты мной.

И их для памяти поэта
Хранит лишь стих удачной мой⁹.

Однако не следует забывать, что стихотворение это опубликовано было лишь в 1922 г. Стихотворение это в 1827 г. не было опубликовано, и современникам, если подразумевать основную массу читателей 1820-х гг., не было известно, поскольку Дельвиг относился к своим ранним стихам исключительно строго, печатал с большим разбором и отвергнутые не распространял в списках.

Итак, Пушкин отсылал читателей к тексту, который им заведомо не был известен. Какой это имело смысл? Дело в том, что среди потенциальных читателей «Евгения Онегина» имелась небольшая группа, для которой намек был прозрачным — это круг лицейских друзей Пушкина (стихотворение Дельвига написано в лицее) и, возможно, тесного кружка приятелей послелицейского периода¹⁰. В этом кругу стихотворение Дельвига было безусловно известно.

Таким образом, пушкинский текст, во-первых, рассекал аудиторию на две группы: крайне малочисленную, которой текст был понятен и интимно знаком, и основную массу читателей, которые чувствовали в нем намек, но расшифровать его не могли. Однако понимание того, что текст требует позиции интимного знакомства с поэтом, заставляло читателей вообразить себя именно в таком отношении к этим стихам. В результате вторым действием текста было то, что он переносил каждого читателя в позицию интимного друга автора, обладающего с ним особой, уникальной общностью памяти и способного поэтому изъясняться намеками. Читатель здесь включался в игру, противоположную такой, как наименование младенца официальным именем — перенесение интимно знакомых людей в позицию «всякого» (ср.: «Иван Сергеич! — проговорил муж, пальцем трогая его под подбородочек. Но я опять быстро закрыла Ивана Сергеича. Никто, кроме меня, не должен был долго смотреть на него»¹¹) и аналогичную употреблению взрослыми и мало знакомыми людьми «детского» имени другого взрослого человека.

Однако в реальном речевом акте

употребление тем или иным человеком средств официального или интимного языков (вернее: иерархии «официальность — интимность») определено его внеязыковым отношением к говорящему или слушающему. Художественный текст знакомит аудиторию с системой позиций в этой иерархии и позволяет ей свободно перемещаться в клетку, указываемые автором. Он превращает читателя, на время чтения, в человека той степени знакомства с авто-

ром, которую автору будет угодно указать. Соответственно автор изменяет объем читательской памяти, поскольку, получая текст произведения, аудитория, в силу конструкции человеческой памяти, может вспомнить то, что ей было неизвестно.

С одной стороны, автор навязывает аудитории природу ее памяти, с другой — текст хранит в себе облик аудитории¹². Внимательный исследователь может его извлечь, анализируя текст.

¹ См.: О. Г. Ревзина, И. И. Ревзин. Семиотический эксперимент на сцене. (Нарушение постулата нормального общения как драматургический прием). — Уч. зап. ТГУ. Вып. 284. Труды по знаковым системам V. Тарту, 1971, с. 240 и сл.

^{1a} См.: И. Вахек. К проблеме письменного языка. — В кн.: Пражский лингвистический кружок. М., 1967; И. Вахек. Письменный язык и печатный язык, там же; И. А. Бодуэн-де-Куртенэ. Об отношении русского письма к русскому языку. СПб., 1912.

² И. Вахек. К проблеме письменного языка, с. 527.

³ Там же, с. 528.

⁴ Отождествление общепонятного, адресованного всем и каждому сообщения с официальным и авторитетным присуще лишь определенной культурной ориентации. В культурах, высшие ценностные характеристики в которых получают тексты, предназначенные для общения с богом (исходящие от бога или обращенные к нему), представление о беспредельности памяти одного из участников коммуникации может превращать текст в полностью эзотерический. Третье лицо, вовлеченное в такой коммуникативный акт, ценит в сообщении именно его непонятность — знак своей допущенности в некоторые тайные сферы. Здесь непонятность тождественна авторитетности.

⁵ При этом речь идет не о реальной памяти общенационального коллектива, а о реконструируемой на основании теорий XVIII в. идеальной общей памяти идеального национального целого.

⁶ Василий Майков. Избр. произведения. М.—Л., 1966, с. 276.

⁷ Г. Державин. Стихотворения. <Л.>, 1947, с. 202.

⁸ Пушкин. Полн. собр. соч., т. VI. Изд. АН СССР, 1937, с. 647.

⁹ Дельвиг. Неизданные стихотворения. Пг., 1922, с. 50.

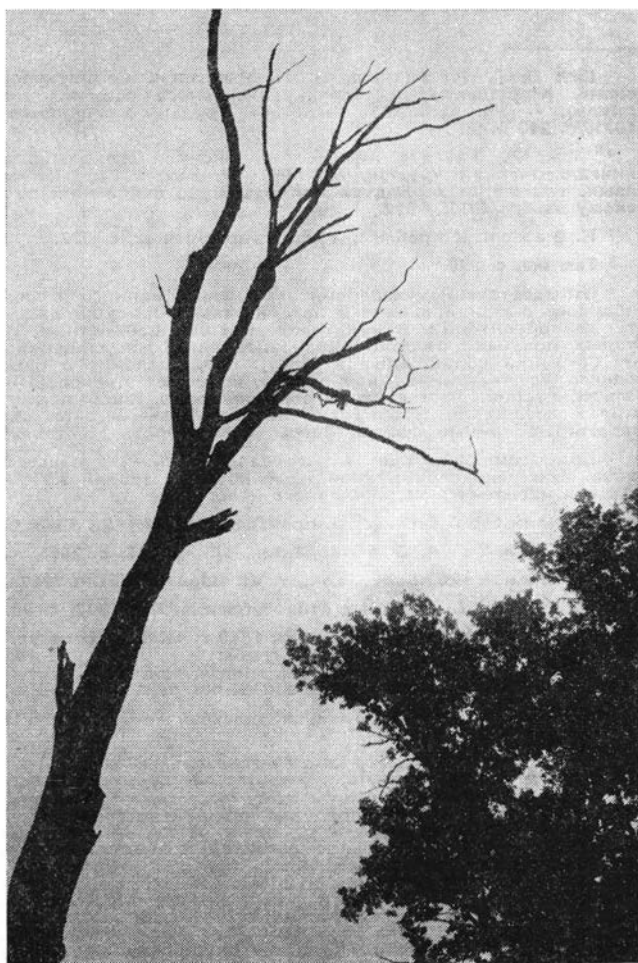
¹⁰ Ср. в стихотворении Пушкина 1819 г. «К Щербинину»:

Скажу тебе у двери гроба:
«Ты помнишь Фанни, милый мой?»
И тихо улыбнемся оба (II, кн. 1, с. 88)

¹¹ Л. Н. Толстой. Семейное счастье. — Собр. соч. в 14-ти тт. Т. III. М., 1951, с. 146.

¹² С этим связан принципиально различный характер адресации художественного и нехудожественного текста. Нехудожественный текст читается (в нормальной ситуации) тем, к кому обращен. Чтение чужих писем или знакомство с сообщениями, предназначенными для другого, этически запрещены. Художественный текст, как правило, воспринимается не тем, кому адресован: любовное стихотворение делается предметом печатной публикации, интимный дневник или эпистолярная проза доводятся до общего сведения. Одним из рабочих признаков художественного текста можно считать расхождение между формальным и реальным адресатом. До тех пор, пока стихотворение, содержащее признание в любви, известно лишь той единственной особе, которая внушила это чувство автору, текст функционально не выступает как художественный. Однако опубликованное в журнале оно делается

произведением искусства. Б. В. Томашевский высказывал предположение, что Пушкин подарил Керн стихотворение, возможно, давно уже и не для нее написанное. В этом случае имел место обратный процесс: текст искусства был функционально сужен до биографического фанга (публикация вновь превратила его в фанг искусства, следует подчеркнуть, что решающее значение имеет не относительно случайный фанг публикации, а установка на публичное использование). В этом отношении перлюстратор, читающий чужие письма, испытывает эмоции, отдаленно сопоставимые с эстетическими. Ср. в «Ревизоре» рассуждение Шпеннига: «... это преинтересное чтение! иное письмо с наслаждением прочтешь. Там описываются разные пассажи... а назидательность каная... Лучше, чем в «Московских ведомостях!» (Н. В. Гоголь. Полн. собр. соч., т. IV. Изд. АН СССР, 1951, с. 17). «Игра адресатом» — свойство художественного текста. Однако именно такие тексты, нан бы обращенные не к тому, кто ими пользуется, становятся для читателя школой перевоплощения, научая его способности менять точку зрения на текст и играть разнообразными типами социальной памяти.



Старое
и молодое.
Фото
Роланда Фогта

Вадим РУДНЕВ

СТИХ И ПЕРЕВОД: ЛАТЫШСКАЯ И РУССКАЯ ПОЭЗИЯ

Стихотворный размер строится на тех мельчайших единицах языка — ударении, слоге, долготе / краткости — которые представляют собой наиболее благодатный материал для ритмизации (так как они уже в языке имеют склонность к повторению) и составляют просодию данного языка. Возможная совокупность размеров, которую можно построить, опираясь на определенные просодические единицы, называется системой стихосложения.

Здесь мы вплотную подходим к проблемам стихотворного перевода. Дело в том, что в каждом национальном языке присутствуют разные просодические элементы, а присутствуя, занимают разное место. Так, если слог есть практически во всех языках, то различие слогов по долготе и краткости (так называемое количество) — далеко не во всех. Оно присутствует в древнегреческом, латыни и санскрите, в современном латышском и эстонском, но его нет в русском, французском, английском. Ударение в разных языках либо закреплено на одном месте (во французском — на последнем слоге, в польском — на предпоследнем, в латышском и эстонском — на первом), либо является подвижным, как в русском, английском и немецком. Поэтому система стихосложения представляет собой национальное, во всяком случае в значительной степени опосредованное национальным языком явление. И отсюда возникает целый ряд практических проблем.

Скажем, как перевести определенную группу стихотворных текстов,

использующих количественную (квантитативную) систему стихосложения, на язык, в котором нет противопоставления долгих и кратких слогов? Вот конкретный пример. Эстонский рунический стих, которым написан национальный эпос «Калевипоэг», использует и количественную систему, и ударение, и плюс к этому — регулярную аллитерацию, то есть регулярное созвучие из строки в строку:

Mui on rikas ristiiite.
Mul on rikas ristifoati.
Viis mind Riiga ristimaie,
Tallina nime panema.

У меня богатая крестная,
У меня богатый крестный.
Сvez меня в Ригу крестить,
в Таллин давать имя.

(Подстрочный перевод М. Ю. Лотмана; из его статьи, помещенной в одном из сборников «Слово в нашей речи», взят и сам пример.) Обычно для перевода подобной стиховой конструкции используются четырехстопным хореем с женскими окончаниями, но, как справедливо замечает М. Ю. Лотман, выбор этого размера «не может считаться особенно удачным: монотонный и однообразный (литературный четырехстопный хорей допускает 8 ритмических вариантов, из которых два практически не употребляются, в то время как в руническом стихе таких вариантов около 50), он ассоциируется у русского читателя с неопределенным «экзотическим» колоритом, не позволяющим отличить

«Калевалу» от «Песни о Гайавате» или испанских романсов». Попыткой передать хотя бы частично стиховую сложность этой конструкции являются, по мнению ученого, переводы С. Семененко, который отказывается от строго хорейского строя строки и вводит некое подобие аллитераций:

Братец мой молоденький
делал каннель звончатый
из клена, светла дерева,
из певучей яблони,
из белого орешника,
из дуба, крепка дерева.
Стал искать, кому играть
на том на звонком каннеле,
в городе на улицах,
в посаде в переулочках.

Надо сказать, что чисто стиховой, просодический аспект проблемы перевода из одной национальной системы стихосложения в другую необычайно сложен. Взять, к примеру, то же эстонское стихосложение. В нем играют роль и слог, и ударение, и количество. Как показал эстонский стиховед Яак Пыльдмяэ, эти три элемента дают восемь возможных систем стихосложения. Русский стих, в котором нет количественного разграничения слогов, дает ровно в два раза меньшее число стиховых систем. На примере переводов рунического стиха мы видели, как обедняется стих при переводе из многоэлементной системы в систему с достаточно малым количеством элементов.

Но даже если системы стиха родственны и, таким образом, существует возможность перевести из силлаботонической системы в силлаботоническую же, то и тогда может возникнуть масса трудностей, и эти трудности будут по-прежнему носить чисто стиховой, просодический характер.

Иногда переводчик не в состоянии перевести те или иные особенности стиха оригинала просто потому, что язык перевода не позволяет этого сделать. В качестве примера рассмотрим перевод поэмы А. Блока «Двенадцать» на латышский язык, осуществленный Имантом Зиедонисом. Надо сказать, что перевод этот представляется очень удачным. Сложная метрическая структура блоковской поэмы, где чередуются звенья,

написанные разными размерами (так называемая полиметрическая композиция), весьма адекватно передана переводчиком. В частности, основная «ритмическая идея» поэмы — противопоставление стихийного начала (дольник, акцентный стих, тактовик, прозаические вставки, реплики-цитаты) четкой поступи красногвардейцев (четырёхстопные хорей и ямб), как кажется, не пострадала в латышском переводе.

Однако, повторяю, есть барьеры, через которые перешагнуть переводчику мешает сам язык, носителем которого он является. Дело в том, что в латышском языке ударение закреплено за первым слогом слова. В русском языке ударение подвижное. Более того, эта подвижность активно используется в поэзии. Так, существуют определенные смысловые соответствия между словами, в которых ударение стоит в начале (розовый, скрадывающий), и идей неподвижности, статичности. И, с другой стороны, — между словами с ударением на последнем слоге (уходить, переманить) и идей подвижности, динамики. Объясняется это, во-первых, психологически. В словах типа «розовый» вначале удар, потом затухание, в словах типа «уходить» — наоборот: нарастание удара к концу. Но есть и чисто лингвистическое объяснение этому феномену. Среди слов с ударением в начале преобладают прилагательные и причастия, а среди слов с ударением в конце — глаголы. Происходит так потому, что прилагательные образуются в основном при помощи суффиксов, а глаголы — при помощи префиксов. При этом получается, что динамический уже по своей лексической семантике глагол динамизируется и просодически («переходит», «отбежать», «недоговорить», «подвезти»), а статические по своей сути прилагательные и причастие обретают дополнительную семантику неподвижности («беленький», «медленнейший», «кобальтовый»). Русская поэзия давно использует это противопоставление. Так, у А. Кольцова в первой части стихотворения «Косарь», где герой жалуется на свою участь, преобладают прилагательные с ударением на первом слоге; во второй же части, где герой начинает бунтовать против

своего несчастья, появляются динамические слова:

Раззудись, плечо!
Размахнись, рука!
Ты пахни в лицо,
Ветер с полудня!
Освежи, взволнуй
Степь просторную!

Так вот, в поэме «Двенадцать», где динамическое начало в целом в большой степени развито, слова с ударением на последнем слоге преобладают над средней формой: впереди, проходи, занята, помогай, забегай, проводи, проведу и т. п.

Латышский язык, как уже должно быть понятно, не в состоянии дать хотя бы одного слова с ударением на последнем слоге. Отсюда некоторая неадекватность перевода подлиннику в тех местах, где таких слов особенно много:

Ужь я времячко
Проведу, проведу ...

Ужь я темячко
Почешу, почешу ...

Ужь я семячки
Полущу, полущу ...

Ужь я ножничком
Полосну, полосну! ..

В латышском переводе:

La-bāk, kā nu prof,
Padzīvot, uzdzīvot ...

La-bāk pakausīt ...
Pakasīt, pakasīt ...

La-bak sēkliaas
Pagrauz — raz — fzpļauj — raz ...

La-bak duncīti
Ka-dam puncīti

Надо сказать, переводчик сделал все, что в его силах: вместо русских слов типа «проведу» он дал несколько трехсложных слов с долгим слогом на конце, как бы компенсируя этим невозможность финального ударения (pakasīt, pakausīt, puncīti, duncīti). Однако в такой степени динамически, как в русском

языке, эти слова все равно звучать не могут.

Можно, правда, подойти к проблеме стихового перевода с иной и во многом противоположной точки зрения. В 1971 году на страницах журнала «Иностранная литература» в рамках дискуссии «Поэзия и перевод» М. Л. Гаспаров в заметке «О пользе верлибра» предложил переводить классический стих верлибром. Аргументация известного теоретика стиха, к тому же еще и замечательного переводчика, на практике с успехом применившего свои теоретические положения, сводилась к следующему: переводя верлибром классическую силлаботонику, мы используем стих, лишенный тех культурных ассоциаций, которые столь различны, скажем, у английского четырехстопного ямба и русского. То есть, отвергая «метрический буквализм» в переводе и снимая во многом проблему метрической адекватности, которая порой, как мы пытались показать, практически неразрешима, мы оставляем место для точного и поэтически нерасплывчатого перевода, когда нет необходимости загонять в схему метра не укладывающееся в него слово. При этом, как справедливо указывает М. Л. Гаспаров, «не надо думать, что верлибр прозаичен, бесформен, невыразителен, однообразен. Он не прозаичен — он требует такой же сжатости, четкости, необычности слога, как и всякий стих. Подстрочники, всем нам знакомые, прозаичны не потому, что в них нет ритма и рифмы, а потому, что они многословны и слова в них стоят случайные, первые попавшиеся. Грубо говоря, сделаем его немногословным и «неслучайнословным» — и мы получим перевод верлибром, и сделать такой перевод будет гораздо труднее, чем иной перевод с ритмом и рифмой. Верлибр не бесформен, а оформлен: в нем каждое слово на счету. Это идеальный аккомпанемент, откликающийся на каждый оттенок смысла (если смысл есть!)».

Именно по такому пути пошел переводчик стихов латышского поэта Улдиса Берзиньша на русский язык Ю. Г. Цивьян. Как кажется, в случае У. Берзиньша, одного из самых сложных по глубине поэтического языка авторов, это единственно пло-

дотворный путь. Сравним стихотворение Берзиньша «Латышские пастиры» в оригинале и переводе на русский язык:

Gliks raksta sirds lielās un lēkā
trīs latviešu bībele rokās
kā traks viņš grūž piecus pirkstus
savās smagajās sprögās

bet aiziet no rokām dievs
aiznes vārdu un garu
viens vecis trinas pie pulsts
uz vaiga plūkādams sarus

kliedz Mancelis sodošām acīm
es taustu tev vilftīgās nierēs
kā debesu uguns mans skatiens
kā roka guļ tev uz pieres

bet aiziet no acīm dievs
nodziest ugunis sejā
no kanceles vecis akls
taustās pa kāpnēm lejā

dzied Firekers eņģeļu balsī
kā puisēns sirds Jēzum lec klēpī
ai parādi kungam sirdi to
brīnumu ko tu slēpj

bet aiziet no lūpām dievs
aiznes to gaišo un cēlo
sirms vārgs vecis stāv
un melo un melo

глюк пишет сердце ликует
и скачет
дрожит латышская библия
в руках
в безумстве запикивает
пять пальцев
в свои тяжелые локоны

но уходит из рук бог
уносит слово и дух
ерзает за конторкой старик
пощипывая на щеке щетину

кричит манцелиус карающими
очами
я щупаю твои хитрющие почки
как небесный огонь мой взгляд
рукой лежит на твоём лбу

но уходит из глаз бог
гаснут огни в лице
с кафедры слепой старик
на ощупь спускается по лестнице

поет фюрекер ангельским голосом

мальчишкой сердце вскакивает
на колени к иисусу
ах покажи господу сердце то
чудо что ты скрывало

но уходит с губ бог
уносит с собой свет
седой слабый старик стоит
и врёт и врёт

В оригинале стихотворение написано трехударным дольником, то есть размером, в строке которого три метрических ударения, а количество слогов между двумя ударениями колеблется от одного до двух. Это стих, хотя и не силлаботонический, но достаточно урегулированный — до верлибра ему далеко.

Ю. Цивьян в переводе не соблюдает ни интервала в один-два слога, не следит за тем, чтобы в строке было по три ударения, наконец отказывается от рифмы. Стих превращается в свободный. Но при этом слова очень точно стоят на своих местах (это именно то превращение подстрочника в верлибр, о котором писал М. Л. Гаспаров), отсутствие строгой метрической сетки только подчеркивает параллелизм строф и строк. Например:

глюк пишет сердце ликует
и скачет...
кричит манцелиус карающими
очами...
поет фюрекер ангельским
голосом...

но уходит из рук бог...
но уходит из глаз бог...
но уходит с губ бог

ерзает за конторкой старик...
с кафедры слепой старик...
седой слабый старик стоит...

Что касается чисто стиховых особенностей, то, во-первых, переводчик компенсирует отсутствие рифмы не навязчивыми, но как бы очень точными аллитерациями (пощипывая на щеке щетину; ...карающими очами / я щупаю твои хитрющие почки; седой слабый старик стоит...), либо скрытыми рифмами (лице — лестнице), а во-вторых, дает метрическую структуру оригинала намеком — несколькими дольниковыми строками:

уносит слово и дух...
как небесный огонь мой взгляд
гаснут огни в лице
чудо что ты скрывало...

Эти строки, вмонтированные в верлибр, как бы служат напоминанием о размере оригинала, реминисценцией, отсылкой к нему.

Конечно, это перевод не для рядового читателя, как и, впрочем, оригинальные стихи У. Берзиньша. Это перевод «комментирующий», цель которого, как пишет сам переводчик, не воссоздание, а «обсуждение подлинника». В соответствии с этим после каждого перевода дается историко-культурный коммента-

рий (переводы Ю. Цивьяна, о которых мы говорим, опубликованы в четвертом номере журнала «Даугава» за 1984 год).

Однако, по-видимому, в случае с «трудными» стихами перевод верлибром — не единственно возможный путь. Так, в своем переводе стихотворения У. Берзиньша «Эй, Мюленбах», одного из самых сложных этого автора, Ю. Цивьян показал, что даже в подобных случаях метрически эквивалентный перевод возможен. А надо сказать, что ритмика этого стихотворения чрезвычайно сложна, если не сказать — загадочна:

Tikai celmi man Muhlenbach mufē mēma man mēle šļupst,
nokostu galu baltas es asinis riju pa izgāztu mežu es nevaru
pamelst man celmi un ciņi zem kājām ei

Muhlenbach galotnes sadur man mute lai
mēli kā koku lai kā vālodze galotnē
sēžu lai kļiedzu laikus un dzimtis un
lai kož mana mute lai melš ei

Muhlenbach saknes man saki tur saukšanas spēka
jēga lai sakņu kodīgā sula ķer tev caur zobiem ei
izrauj man sakni kā zobu no lūpām lai
sajūtu vārda sāpes vārda asinis riju dur
sakni kā skabargu mēlē lai mutei trūkst
vārdu lai kož mana mute lai melš ei

Muhlenbach valodu dod lai es muldu dod man vis-
cietāko vārdu pārkodīš mana mute pat ja reiz
kāja vai nūja man izdauzīs zobus ja paklups
nespēšu kost tad pieber man muti ar gotu
un jaunajiem burtiem un visādiem cipariem zīmēm
un atkal lai kož mana mute lai melš

Одни лишь основы под небом нем мой язык шепелявит откушенным кончиком корчится белую кровь глотаю эй

Мюленбах выкорчуй пни заплетаются ноги в основах сквозь чашу никак не прорваться эй

Мюленбах дай окончаний в язык повтыкай чтоб склонять его ствол чтоб ветвился чтоб сам я как иволга в кроне сидел и кричал бы про род и про время и чтоб рот мой кусался чтоб врал эй

Мюленбах корни скажи мне в них смысл звательной силы едкий чтоб сок коренной так у тебя меж зубов эй вырви мне корень как зуб изо рта дай боли слова изведать кровью его захлебнуться ткни корень занозой в язык чтоб набух чтобы слово мой рот раскусил чтобы врал эй

Мюленбах дай языка чтоб трепать дай самое крепкое слово перекусит мой рот а если однажды нога или палка мне вышибет зубы упав не смогу укусить засыпь мне тогда полный рот готическим шрифтом и новым и всякими цифрами знаками и чтоб тогда снова кусался мой рот чтобы врал

Такой стих никак не назовешь верлибром, так как у верлибра выступает, так сказать, строка в чистом виде и отсутствует (во всяком случае, на поверхности) внутренний просодический ритм чередования ударных и безударных слогов. В стихотворении «Эй, Мюленбах» все наоборот. Строки как бы вообще нет, а внутренний ритм, дактилически-долниковый, очень значимо присутствует. При этом ритмико-графический строй стихотворения не вызывает ассоциаций ни с метрической прозой А. Белого, ни с обычной уже в русской стихотворной культуре записью метрического стиха сплошняком, *in continuo*. Как кажется, генезис этого стиха следует искать в Библии, где под словом «стих» как раз принимается нечто представляющее собой смысловое и синтаксическое единство (нечто подобное тому, что лингвисты называют сферфразовым единством или сложным синтаксическим целым). Такое предположение подкрепляется содержанием стихотворения, где речь идет о первом латышском лексикографе, к которому поэт обращается как к демиургу с мольбой о языке, о слове, где противопоставляется естественный язык, связанный с артикуляционными ассоциациями (при этом переводчик сохраняет сложнейшую игру слов: корень языковой, древесный и корень зуба, «склонять» в лингвистическом и общебытовом значении; игра слов «рот» и «род»; «небо» и «нёбо»; наконец многозначность самого главного слова — язык) и язык искусственный, культурный, тема дарения которого восходит к обряду инициации. Сравним это стихотворение с пушкинским «Пророком», написанным примерно на ту же тему:

И он к устам моим приник
И вырвал грешный мой язык,
И празднословный и лукавый.
И жало мудрая змеи
В уста замершие мои
Вложил десницею кровавой.

В стихотворении У. Берзиньша в роли пророка выступает составитель первого словаря латышского языка, то есть «культурный герой», дарящий поэту печатное слово. Отсюда та своеобразная трансформация обряда культурной инициации, которая дана в заключительных «абзацах» стихотворения: поэт просит засыпать ему рот вместо зубов готическим и новым шрифтом для того, чтобы обновился его язык, чтобы он мог «кусаться».

Эти два стихотворения У. Берзиньша представляют собой тот чрезвычайно редкий случай, когда перевод и оригинал взаимообогащаются за счет друг друга, а не взаимообедняются, как это, к сожалению, бывает чаще всего.

Но вернемся к верлибру, представляющему собой одну из самых увлекательных стихопереводческих проблем. Отсутствие строгой метрической упорядоченности в верлибре компенсируется строгой упорядоченностью на других уровнях, поэтому переводить верлибр едва ли не сложнее, чем метрически организованный стих. Вот что писал Вяч. Вс. Иванов в рамках упоминаемой уже нами дискуссии «стих и перевод» в статье «Свободный стих как способ видеть мир» о переводе верлибра Назыма Хикмета на русский язык (стихотворение «Великан с голубыми глазами» в переводе Давида Самойлова): «...если сравнить этот перевод с оригиналом, то можно увидеть, что в переводе не передано то, что все стихотворение Хикмета построено вокруг главного слова *dev* (великан). Это слово бросает отблеск своих звуков и на другие слова стихотворения, которое все ориентировано на него, повторяет эту основную тему. (...) Из двух частей рифмующихся между собой в подлиннике слов *dev* (великан) и *ev* (дом) переводчик в качестве рифмующегося сохранил второе, тогда как в оригинале ключевым является первое. Не только рифмы, но и другие слова в узловых точках

стихотворения Хикмета подобраны таким же образом. В трагическом месте финала, где маленькая женщина, которую любил великан, уходит от него, она говорит ему «Eveda!» («Прощай!»); вторая половина этого слова — зеркальное отображение ключевого слова dev (великан). Из разных слов со значением «Прощай!» выбрано именно это, потому что в нем Хикмет как бы зеркально зарифмовал главное слово.

Мы видим, таким образом, что в верлибре бывают скрыты звуковые загадки, которые не всегда разгадываются переводчиками. Но есть в верлибре загадки и чисто метрические. Само признание того факта, что верлибр — это стих без метра, кажется проблематичным. По моему мнению, верлибр — не стих без метра, а стих, представляющий собой систему ассоциаций, отсылок к различным метрам.

Дело в том, что все размеры русского стиха взаимосвязаны. Приведем известный пример. Строка четырехстопного ямба с пропусками двух метрических ударений в середине строки (типа «И кланялся не принужденно») в другом метрическом контексте воспринимается как трехстопный амфибрахий. Сравним строки из «Онегина» и искусственный пример:

Легко мазурку танцевал
И кланялся непринужденно.

Вот девушка, едва развившись,
Еще не потупляясь, не краснея,
Непостижимо черным взглядом
Смотрит мне навстречу.
Была бы на то моя воля,

Просидел бы я всю жизнь в Сеттиньяно

У выветрившегося камня Септимия Севера.

Смотрел бы я на камни, залитые солнцем,

На красивую и загорелую шею и спину
Некрасивой женщины под дрожащими тополями.

Как видим, ритмика этого верлибра имеет довольно отчетливый динамический рисунок. Вначале идут ямбы, затем хорей, далее трехсложник, тактовик и, наконец, акцентный стих. Скопление ямбов в начале неслучай-

Мазурку легко танцевал
И кланялся непринужденно.

Получается, что четырехстопный ямб и трехстопный амфибрахий пересекается своими ритмическими вариантами. Это относится и ко всем двусложникам в целом.

Другой пример — трехударный дольник, размер, который на правах ритмических вариантов может включать в свою метрическую структуру и двусложники и трехсложники. Так, в следующем четверостишии А. Блока:

Входил в свою тихую келью,
Зажигал последний свет,
Ставил лампаду веселью
И пышных лилий букет... —

первая строка по ритму соответствует трехстопному амфибрахию, вторая — четырехстопному хорею, третья — трехстопному дактилю и только четвертая является специфически дольниковой.

Верлибр доводит эту тенденцию к включению одной метрической структуры, более ритмически свободной, других метрических структур, более жестких, — до предела. Верлибр представляет собой систему из всех возможных размеров русского стиха. Приведем пример из А. Блока:

4-ст. ямб
5-ст. ямб
4-ст. ямб
3-ст. хорей
3-ст. амфибрахий
3-ударн. тактовик
4-ударный акцентный стих
4-ударный акцентный стих
4-ударный акцентный стих

Это стихотворение Блока непосредственно связано с его итальянским циклом. Так, строка «Непостижимо черным взглядом...», написанная четырехстопным ямбом, является реминисценцией к четырех-

стопноямбическому стихотворению
«Равенна»:

Безмолвны гробовые залы,
Тенист и хладен их порог,
Чтоб **черный** **взор** блаженной
Галлы,
Проснувшись, камня не прожег.
(Выделено мной. — В. Р.)

Теперь посмотрим, как эта картина ритма сохраняется в переводе. Перед нами стихотворение А. Блока «Вот девушка, едва развившись...» в переводе на латышский язык Иманта Аузиня:

Lūk, meifene, tik tikko uzplaukusi,
Vēl acis nenolaižot, nenosarkstot,
Ar neizprotamu melnu skatu
Man tieši sejā raugās
Ja manā varā tas būtu

Es visu dzīvi aizvadītu Setiņjano
Pie Septīnija Sevēras apdrupušā akmens.

Es skatītos uz saules apspīdējaiem akmeņiem

Uz neglītu sievietes iedegušo kaklu un muguru

Kad viņa apstājas zem drebošajām papelēm

Как видим, картина, особенно вначале, во многом схожая. Ритмика первых трех строк полностью сохранена, дальше переводчик, очевидно под давлением ямбической инерции первых строк, в большей степени метризовал стихотворение. В оригинале перелом в середине текста и контраст между ямбическим началом и акцентным завершением более ощутим. Теперь посмотрим, сохранилась ли реминисценция из стихотворения «Равенна», ведь она — неявная, скрытая, возможно не сознававшаяся самим поэтом. Тем не менее латышский контекст ее сохраняет. Вот строка «Непостижимо черным взглядом» по-латышски — и метрически и лексически она передана довольно точно: «Ar neizprotamu melnu skatu»; а вот соответствующие строки из «Равенны» в латышском переводе:

Lai mastos Gallas melnās acis
Par pelniem nevērš akmeņus

«melnš skats» — черный взгляд, «melnās acis» — черные глаза. Сохране-

ние цитаты тем более удивительно, что стихотворения «Вот девушка...» и «Равенна» переведены разными авторами. Может быть, это случайность?

Рассмотрим еще одно стихотворение, знаменитый блоковский верлибр:

Она пришла с мороза
Раскрасневшаяся,
Наполнила комнату
Ароматом воздуха и духов,
Звонким голосом
И совсем неуважительной
к занятиям
Болтовней.

4-ст. ямб

5-ст. ямб

4-ст. ямб

3-ст. ямб

3-ударн. дольник

6-ст. ямб

4-ударн. тактовик

4-ударн. тактовик

5-ударн. тактовик

6-ст. ямб

Она немедленно уронила на пол Толстый том художественного журнала,
И сейчас же стало казаться,
Что в моей большой комнате
Очень мало места.

Все это было немножко досадно
И довольно нелепо.
Впрочем, она захотела,
чтобы я читал ей вслух Макбета.

Едва дойдя до *пузырей земли*,
О которых я не могу говорить
без волнения,
Я заметил, что она тоже волнуется
И внимательно смотрит в окно.

Оказалось, что большой
пестрый кот
С трудом лепится по краю крыши,
Подстерегая целующихся голубей.

Я рассердился больше всего на то,
Что целовались не мы, а голуби,
И что прошли времена Паоло
и Франчески.

Это стихотворение переведено на латышский язык Арией Элксне. Не стану приводить перевод полностью. Разберем лишь наиболее интересные строки. Надо сразу сказать, что в настоящем случае ритмика верлибра Блока во многом оказалась переводчиком неразгаданной. Так, уже первая строка «Она пришла с мороза», где дана подчеркнутая трехстопноямбическая схема, переведена метрически весьма невнятно — «Iz aukštuma viņa atpāsa». Между тем эта строка представляет собой чрезвычайно явную метрическую цитату из трехстопноямбического стихотворения Блока: «Она пришла с заката...», причем цитату, чрезвычайно важную для раскрытия ритмической «идеи» разбираемого нами стихотворения:

Она пришла с заката.
 Был плащ ее заколот
 Цветком нездешних стран.

Звала меня куда-то
 В бесцельный зимний холод
 И утренний туман.

Все стихотворение «Она пришла с мороза...» построено на диссонансе между партиями лирического «я» и героини, которая своим поведением разрушает те ритмические и смысловые стереотипы, ярлыки, которые «наклеивает» на нее герой. Поэтому резкая смена ритмических волн в стихотворении чрезвычайно важна. Кое-что переводчик сумел отразить. Например, строка «Едва дойдя до *пузырей земли*» (герой читает шекспировского «Макбета» — отсюда и пятистопный ямб, размер шекспировских трагедий) передана на латышском языке с метрической точки зрения достаточно адекватно: «Kad biju попācis līdz zemes bulbuliem». А вот в предшествующей строке более тонкую реминисценцию переводчик не заметил:

Чтобы я читал ей вслух Макбета...

Пятистопный хорей отсылает здесь к лермонтовскому «Выхожу один я на дорогу...»:

Чтоб всю ночь, весь день,
 мой слух лелея,
 О любви мне сладкий голос пел...

В латышском переводе («Lai skaļi lasu tai priekšā «Makbetu») пропадает пятистопный хорей, а тем самым пропадает и реминисценция.

Подобные метрические загадки загадывает переводчикам и филологам не только верлибр, но и полиметрический стих. В нем наряду с явными графически и интонационно изолированными звеньями обнаруживаются подчас строки, скрытую метричность, а тем самым, как правило, и цитатность которых распознать очень трудно. Так, в переводе И. Зиедониса «Двенадцати» Блока в строке «Холодно, товарищи, холодно» («Salst, biedri, salst!») явно не узнана цитата из Некрасова:

Холодно, странничек, холодно.
 Холодно, родименький, холодно.

Между тем как полиметрическая структура «Двенадцати» совершенно явно ориентирована на некрасовскую полиметрию («Кому на Руси жить хорошо», в первую очередь).

Проблема «стих и перевод» имеет массу частных аспектов. Мы коснулись лишь некоторых из них. При этом главной целью было показать необходимость больших контактов между практиками стихотворного перевода и теоретиками стиха. Поэтому в заключение прилагаю список лучшего, на мой взгляд, что было опубликовано отечественным стиховедением за последние 10—15 лет. Читатель найдет в этих книгах многое из того, о чем говорилось выше.

Баевский В. С. Стих русской советской поэзии. — Смоленск, 1972.

Гаспаров М. Л. Современный русский стих: Метрика и ритмика. — М.: Наука, 1974.

Гаспаров М. Л. Очерк истории русского стиха: Метрика. Ритмика. Рифма. Строфика. — М.: Наука, 1984.

Жирмунский В. М. Теория стиха. — Л.: Сов. писатель, 1975.

Исследования по теории стиха. — Л.: Наука, 1978.

Проблемы стиховедения. — Ереван, 1976.

Проблемы теории стиха. — Л.: Наука, 1984.

Руднев П. А. Введение в науку о русском стихе. — Тарту, 1987.

Русское стихосложение XIX в.: Материалы по метрике и строфике русских поэтов. — М.: Наука, 1980.

Теория стиха. — Л.: Наука, 1968.

РАЙНИС ЧИТАЕТ МАРИЮ БАШКИРЦЕВУ

Дневники, исповеди всегда вызывают двойственную реакцию, жгучую смесь недоверия и любопытства. Недоверия, разумеется, к искренности пишущего, а любопытства, конечно же, к запечатленным движениям ума и души, чуждым или родственным нам по духу.

Иногда реакция читателей перерастает в общественный резонанс, в этих случаях публикация расчетливо-интимного дневника становится событием культурной жизни, а сам он — литературным явлением, и мы, с известной долей вероятности, можем проследить, какое влияние «книга откровения» оказывает на современников.

Одним из таких событий в конце 80 — начале 90-х годов прошлого века стала публикация написанного по-французски и переведенного почти на все европейские языки «Дневника» умершей незадолго до того от скоротечной чахотки русской художницы Марии Башкирцевой (1860—1884). Она начала его двенадцатилетней девочкой и вела до самой смерти, заполнив 106 тетрадей. По словам французского писателя Армана Лану, это «жизнь женщины, записанная изо дня в день без всякой рисовки, как будто никто в мире не должен был читать написанного, и в то же время со страстным желанием, чтобы оно было прочитано».

Написанное было прочитано многими выдающимися людьми, и отзывы, весьма и весьма разноречивые, скорее выдают читательскую натуру, нежели определяют авторские достоинства. «Смешна, нелепа,

подчас возмутительна», — характеризовал героиню «Дневника» Н. К. Михайловский. «Как искусственно все у нее: и держится, и одета», — замечал Л. Н. Толстой. «Вещь эта в высшей степени мне не симпатична», — вторил ему В. Г. Короленко. «Чепуха, но к концу повеяло чем-то человеческим», — как бы смягчал эти резкие оценки А. П. Чехов. Совершенно иначе восприняли исповедь юной художницы литераторы, так сказать, иного склада. «Поэты и художники», — писал С. А. Андреевский, — должны признать в ней свою кровную сестру, передавшую в своем дневнике и выражавшую примером своей жизни — историю их тайных радостей, надежд, колебаний, стремлений и горестей». В. Я. Брюсов 16 мая 1892 года занес в свой дневник: «Ничего так не воскрешает меня, как дневник М. Башкирцевой. Она — это я сам, со всеми своими мыслями, убеждениями и мечтами. Башкирцева хоть могла сказать: «Каждый час, употребленный не на это (приближение к одной из своих целей) и не на кокетство (оно ведет к любви, ergo к замужеству), падает мне на голову, как тяжесть». Увы! Мне нет этого утешения, и часы, потраченные на рисовку перед барышнями, — потеряны для меня». В. В. Хлебников считал произведение Башкирцевой уникальным явлением мировой культуры, как «точный дневник своего духа», искал в ее записях отражения общемировых закономерностей. Марина Цветаева посвятила «блестящей памяти» художницы ранний сборник своих сти-

хов «Вечерний альбом». Среди мастеров изящной словесности, испытывших на себе влияние Башкирцевой, были и другие русские поэты. И безусловно излишне говорить, что ее «Дневником» зачитывалась широкая публика.

Читателей привлекали, вне всякого сомнения, искренние признания экзальтированной и богато одаренной натуры, та искренность, которую переводчица «Дневника» на русский язык литератор Л. Я. Гуревич назвала «отважной». Влекло самооглощение автора разгадкой собственного «я» и нескрываемое тщеславие — побудительный мотив многих поступков Башкирцевой, заслуживший критических оценок широчайшего диапазона: от «героини бесплодной суетности и ненасытного тщеславия» — и до «необыкновенного богатства природных данных и неутомимой энергии честолюбия». Однако камертоном всех откликов, замесом необычайного интереса к «Дневнику» и возбудителем споров была личность самой исповедницы (впрочем, ей было что рассказать не только о себе, она свела короткое знакомство со многими знаменитостями тех лет).

Есть рок иссушающий, отнимающий силы, убивающий всякое желание жить. Но иногда под крылом близкой смерти кипит бурная жизнь. Так было и в случае с Башкирцевой. Сознание неотвратимого конца на излете юности («... я не успею выполнить всего задуманного... ведь я не проживу долго») как бы руководило ею с младых ногтей («Мне 13 лет; если я буду терять время, что же из меня выйдет!») и наполняя разительной энергией каждый проживаемый день. Самостоятельно выучены латынь, древнегреческий и европейские языки; за пять месяцев окончен трехлетний курс лицея; ей покорны четыре музыкальных инструмента — рояль, гитара, арфа, мандолина и еще собственный голос; за пять лет кончен курс живописи, рассчитанный на семь; в немногие годы ею создано 150 картин, 200 рисунков, акварели, скульптуры, приобретенные впоследствии крупнейшими музеями... Но если картины принесли ей известность на пороге небытия, то настоящая слава, о которой она мечтала всю жизнь, осенила ее имя посмертно — по выходе

в свет «Дневника» (впервые частично издан в 1887 году в Париже поэтом А. Терье) и писем (Париж, 1891 г.; с начала 80-х гг. Башкирцева, сохраняя анонимность, переписывалась с Ги де Мопассаном). По-русски отрывки из дневника были напечатаны в том же 1887 году, а переписка с Мопассаном — в 1901-м; дневник, с дополнением прежде не издававшейся части, выходил до Октябрьской революции неоднократно.

К Яну Райнису «Дневник» Марии Башкирцевой попал не случайно — в 1897 году его жена Аспазия подарила ему двухтомное немецкое издание этой книги, выпущенное в Лейпциге. Подарок был сделан при необычных обстоятельствах — Райнис в ту пору (с конца июня до середины декабря) находился в заключении в Либавской (Лиепайской), а также Рижской тюрьме по делу новотеченцев (Новое течение — идейное движение латышской прогрессивной интеллигенции, сформировавшееся во второй половине 80 — начале 90-х годов XIX в.). В библиотеке поэта сохранились оба тома с надписью, сделанной рукой Аспазии: «Эта книга куплена мною для Райниса (сидящего) в тюрьме».

Что до Аспазии, то ей, женщине, актрисе, автору романтических стихотворений, многое могло импонировать в сочинении Башкирцевой, но с какими мыслями и чувствами читал эту нашу великую вещь 32-летний революционер, пропагандист идей марксизма, только начинающий свой литературный путь, серьезный и уравновешенный человек «средних лет», как он сам себя величал? Какие струны мог задеть в нем самоанализ молодой художницы, пропитывающий весь ее дневник, от корки до корки?

Самый лаконичный ответ будет таким: Райниса волновало в прочитанном прежде всего и главным образом то, что больше всего соответствовало его интересам и эмоциональному настрою в это нелегкое для него время. Оба тома испещрены перечеркиваниями, но чаще других он отмечает в тексте фразы и абзацы, содержащие суждения Башкирцевой о становлении своем как художника, вообще о духовном росте, а также ее высказывания о любви и той роли, которую играет

это чувство в жизни и судьбе творческой личности.

Ничего удивительного: человек, испытывающий потребность в переоценке самого себя, ищет отзвука в той, для кого кризисы — норма существования. Райнис ясно сознавал себя на новом повороте судьбы, для него начинался, как он сам замечает 24 июля 1897 года в своем дневнике, «интересный период развития». Начинался, по его представлениям, с довольно большим опозданием. В этой связи Райнис записывает о себе — под влиянием прочитанного дневника Башкирцевой — следующие строки: «Будь моя молодость светлой и радостной, может быть, меня влекло бы к работе, и, видя себя в деле, я бы рано возмужал, и мой ум мог бы развиться несомненно более разносторонне, но не исключено, что менее глубоко».

Дневники, письма, литературные заметки Райниса свидетельствуют о том, что в 1897 году его духовная жизнь была весьма интенсивной. Он переводил «Фауста» Гете, много читал, в списке книг, которыми он пользовался в тюрьме, — работы по индуистской религии, о жизни Будды, сочинения Платона, Ницше, Мопассана, Фламариона, Гауптмана, Ибсена, Зудермана, Гете. От этого периода в архиве поэта сохранились обширные материалы для романа «Человек будущего», автобиографического романа, романа о латышском обществе второй половины XIX века. Недаром особый раздел плана автобиографической прозы посвящен событиям жизни именно в 1897 году. Этот раздел даже озаглавлен. Райнис назвал его «На пути в завтра».

В автобиографических текстах Райниса (дневниках, письмах, материалах к романам) преобладают такие понятия, как «абсолютная внутренняя правда», «духовное самоуглубление», «свобода», «идея правды». Дело в том, что его тогда очень занимал вопрос правдивости автобиографических произведений. Те возможности и пределы, о которых А. С. Пушкин, например, говорил в письме к П. А. Вяземскому в ноябре 1825 года: «Писать свои Mémoires заманчиво и приятно. Ничего так не любишь, никого так не знаешь, как самого себя. Предмет неистощимый. Но трудно.

Не лгать — можно; быть искренним — невозможность физическая».

Словом, «Дневник» Марии Башкирцевой Райнис раскрыл с известным любопытством. Прочел предисловие и не вполне поверил обещанию автора быть правдивой в рассказе о себе. «Будет очень интересно читать книгу, которая хочет быть **предельно правдивой**, и видеть, как мало в ней правды», — так выразил свои сомнения Райнис в записной книжке.

В сущности, Райнис колебался, не будучи уверен, возможно ли быть совершенно объективным в автобиографической прозе, однако это не помешало ему сравнивать Марию Башкирцеву с собой. Башкирцева пишет о своей первой любви — Райнис вспоминает увлечение ранней молодости. Башкирцева рассуждает о славе — Райнис признается, кем мечтал быть он: «поэтом, основателем религии, потом дипломатом, реже воином, но и тогда не менее как фельдмаршалом».

Чаще всего подвергается сравнению процесс развития. Райнису всегда была близка эта тема, но в 1897 году она звучала с особой силой. Он писал: «Что доставляет высшую отраду — свое «я», изучение себя, всегда большее, всегда больше чувствования, становление (самое интересное) и становление внутри себя». Подобные мысли часто варьируются. Некоторые формулировки подсказаны дневником Башкирцевой. Так, в июле 1897 года Райнис следующим образом продолжает излюбленную тему: «Неизвестная ступень совершенства доставляет радость, но развитие, самосовершенствование дает отраду. Развитию, в том числе и совершенствованию человека, нет пределов».

Дневник Марии Башкирцевой укрепляет убежденность Райниса в том, что стремления творческих личностей подчиняются определенным закономерностям: «Общее для всех: индивидуальность, независимость, устремления, развитие».

Идея развития никогда не утрачивала актуальности в психологических наблюдениях Райниса над самим собой. В этом смысле у него много общего с Александром Блоком, которому очень близка была идея своего пути и который в написанной

в 1909 году статье «Душа писателя» подчеркивал: «Первым и главным признаком того, что данный писатель не есть величина случайная и временная, является чувство пути».

Дневниковые записи Башкирцева попали к Аспазии и Райнису в тот момент, когда они впервые были вынуждены надолго расстаться друг с другом, и эта разлука необыкновенно обострила в них чувство взаимной любви. Мария Башкирцева много пишет о значении любви в духовном согласии двух любящих существ. Она убеждена, что любовь все решает. Любовное чувство поднимает на высоту, гораздо более

высокую ступень и взаимопонимание, и уважение к мнениям любимого. Только с любимым можно делиться самым сокровенным и святым. Сама же любовь, считала юная художница, находит опору в духовной близости и родстве душ.

В 1897 году Аспазия и Райнис в своей переписке постоянно возвращаются к вопросу о духовной близости, многократно ссылаясь при этом на Марию Башкирцеву, чей дневник стал для Райниса в тюремном заточении своего рода критерием духовности и помог ему укрепиться в сознании своего высокого предназначения.

ДЕСЯТЬ СТИХОТВОРЕНИЙ ГЕОРГИЯ АДАМОВИЧА

Имя поэта и критика Георгия Викторовича Адамовича (1892—1972) в последнее время понятным образом все чаще упоминается в нашей печати. Газета «Литературная Россия» (10 июля 1987 г.) напечатала подборку из 10 его стихотворений. Другую подборку мы предлагаем сегодня нашему читателю.

Характеризовать стихи Адамовича трудно потому, что они исполнены рефлексии и самоанализа, и все черты его поэтической индивидуальности, которые мог бы подметить заинтересованный наблюдатель, в них уже названы наперед. Свой поэтический идеал Адамович излагал и прозой: «Какие должны быть стихи? Чтобы, как аэроплан, тянулись, тянулись по земле и вдруг взлетали... если и не высоко, то со всей тяжестью груза. Чтобы все было понятно, и только в щели смысла врывался пронизывающий трансцендентальный ветерок. Чтобы каждое слово значило то, что значит, а все вместе слегка двоилось. Чтобы входило, как игла, и не видно было раны. Чтобы нечего было добавить, некуда было уйти, чтобы «ах!», чтобы «зачем ты меня оставил?», и вообще, чтобы человек как будто пил горький, черный, ледяной напиток, «последний ключ», от которого он уже не отвернется. Грусть мира поручена стихам. Не будьте же изменниками».

Как и многие его современники,



Георгий Адамович.

Фото Моисея Наппельбаума

Адамович ощущал себя последним поэтом, говорящим «с последней прямой» простые слова о самом главном, а то и уступающим молчанию, идеалу «непоправимо-белой страницы». В русской поэзии он не первый и не последний «последний» поэт. Разве что самоопределение

Адамовича конкретизировалось тем, что он мог бы называть себя «последним петербургским поэтом» — и убийство Павла и смерть Пушкина он лично переживал именно как гражданин северной столицы. И в эмигрантской литературе он продолжал существовать как придирчивый охранитель сдержанного петербургского стиля, откуда и пошел его многолетний раздор с Мариной Цветаевой, ославившей Адамовича в своей статье «Цветник». Когда-то, в

1916 году, Владислав Ходасевич отметил в первом стихотворном сборнике Адамовича вкус, бескровность и некоторую ленивость. Парижское одиночество превратило эту петербургскую манеру в лицо, которое в старости поэта выросло до стиля, и пять-шесть «как бы случайных строк» Адамовича, кажется, вписались в тот многоголосый разговор, который три века ведет русская поэзия.

Он, как и мечталось, видимо, ему, стал «голосом из хора»...

Георгий АДАМОВИЧ

СТИХОТВОРЕНИЯ

Нет, ты не говори: поэзия — мечта,
Где мысль ленивая игрой перевита,

И где пленяет нас и дышит легкий гений
Быстротекущих снов и нежных утешений,

Нет, долго думай ты, и долго ты живи,
Плачь, и земную грусть, и отблески любви,

Дни хмурые, утра, тяжелое похмелье,
Все в сердце береги, как медленное зелье,

И, может, к старости тебе настанет срок
Пять-шесть произнести как бы случайных строк,

Чтоб их в полубреду потом твердил влюбленный,
Растерянно шептал на казнь приговоренный,

И чтобы музыкой глухой они прошли
По странам и морям тоскующей земли.

1919



Один сказал: «Нам этой жизни мало»,
Другой сказал: «Недостижима цель».
А женщина привычно и устало,
Не слушая, качала колыбель.

И стертые веревки так скрипели,
Так умолкали — каждый раз нежней —
Как будто ангелы ей с неба пели
И о любви беседовали с ней.



«Граф фон-дер Пален». — Руки на плечах.
Глаза в глаза, рот иссиня-бескровный. —
«Как самому себе. Да сгинет страх.
Граф фон-дер Пален. Верю безусловно!»

Все можно искупить: ложь, воровство,
Детоубийство и кровосмешенье,
Но ничего на свете, ничего
На свете нет для искупленья

Измены.



Что там было? Ширь закатов блеклых,
Золоченых шпилей легкий взлет,
Ледяные розы на окнах,
Лед на улицах и в душах лед.

Разговоры будто бы в могилах,
Тишина, которой не смутить . . .
Десять лет прошло — и мы не в силах
Этого ни вспомнить, ни забыть.

Тысяча пройдет — не повторится,
Не вернется это никогда.
На земле была одна столица.
Все другое — просто города.



Там, где-нибудь, когда-нибудь,
У склона гор, на берегу реки,
Или за дребезжащею телегой,
Бредя привычно, под косым дождем,
Под низким, белым, бесконечным небом,
Иль много позже, много, много дальше,
Не знаю, что, не понимаю, как,
Но где-нибудь, когда-нибудь, наверно.



Стихам своим я знаю цену.
Мне жаль их, только и всего.
Но ощущаю как измену
Иных поэзий торжество.

Сквозь отступленья, повторенья,
Без красок и почти без слов,
Одно, единое виденье,
Как месяц из-за облаков,

То промелькнет, то исчезает,
То затуманится слегка,
И тихим светом озаряет,
И непреложно примиряет
С беспомощностью языка.



Слушай — и в смутных догадках не лги.
Ночь настает, и какая: ни зги!

Надо безропотно встретить её,
Как ни сжималось бы сердце твоё.

Слушай себя, но не слушай людей.
Музыка мира всё глуше, бедней.

Космос, полеты, восторги, война, —
Жизнь, говорят, измениться должна.

(Да, это так... Но не поняли вы:
«Тише воды, ниже травы».)



Памяти М. Ц.

Поговорить бы хоть теперь, Марина!
При жизни не пришлось. Теперь вас нет.
Но слышится мне голос лебединый,
Как вестник торжества и вестник бед.

При жизни не пришлось. Не я виною.
Литература — приглашенье в ад,
Куда я радостно входил, не скрою,
Откуда никому — путей назад.

Не я виной. Как много в мире боли.
Но ведь и вас я не виною ни в чем.
Все по случайности, все — по неволе.
Как чудно жить. Как плохо мы живем.



Ночь... в первый раз сказал же кто-то —
ночь!
Ночь, камень, снег... как первобытный гений
Тебе, последыш, это уж невмочь.
Ты раб картинности и украшений.

Найти слова, которых в мире нет,
Быть безразличным к образу и краске,
Чтоб вспыхнул белый безначальный свет,
А не фонарик на грошовом масле.



Нет, в юности не все ты рассказал.
Шла за главой глава, за фразой фраза,
И книгу жизни ты перелистал,
Чуть-чуть дивясь бессмыслице рассказа.

Благословенны ж будьте, вечера,
Когда с последними строками чтенья
Всё, всё твердит — «пора, мой друг, пора»,
Но втайне обещает продолженье.

Публикация Романа ТИМЕНЧИКА

Роланд ФОГТ

МАСТЕР ЦВЕТОВЫХ КОНТРАСТОВ

Так называют заслуженного деятеля искусств Латвийской ССР художника Рудольфа Пинниса. Он родился 11 октября 1902 года под Лубаной. Детство его прошло на живописных берегах реки Айвиексте, красота окрестных мест рано пробудила воображение одаренного мальчика. По окончании волостной школы он уже неплохо рисует. В 1917 году брат Эдуард увозит его в Петроград.

Подросток проводит целые дни в Эрмитаже и Русском музее. Встреча с настоящим искусством, его завораживающая магия определяет жизненный путь Рудольфа. Вернувшись в Ригу, он предается самостоятельным занятиям рисунком и живописью, а в 1920 году случай сводит его с художником Волдемаром Тоне, в мастерской которого юноша знакомится с течениями современного европейского искусства.

Рудольф Пиннис был в числе первых студентов Латвийской академии художеств. Его учителями в академии были Я. Куга и Ю. Феддер. В связи с призывом в армию учебу приходится прервать. Демобилизовавшись, он решает отправиться в заграничное путешествие. Польша, Австрия, Италия, Турция, где брат работает в советском посольстве в Стамбуле. В 1928 году — поездка в Египет, потом непродолжительное пребывание в Германии. Но молодой художник мечтает о Париже — тогдашней Мекке искусств. И в 1929 году его мечта сбывается.

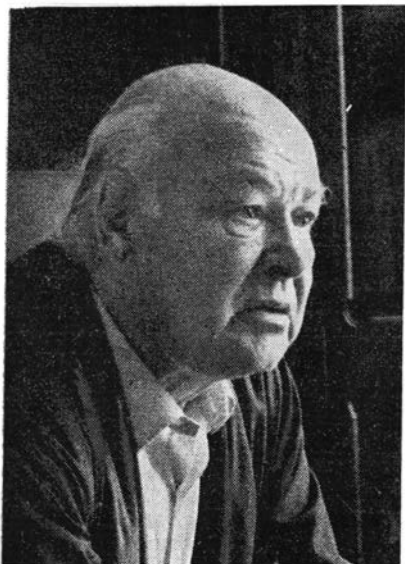
Воздух Парижа! Тяга к мольберту у Пинниса огромна, но надо думать и о хлебе насущном. Художник вынужден заниматься поденкой — делает рисунки для шелкографии, оформляет помещения. Вместе с тем он становится завсегдатаем Люксембургского музея, где штудировать полотна импрессионистов. С 1929 по 1935 год он слушатель частной парижской академии искусств — «Academie de la Grande Sshaumiere» в центре Монпарнаса.

В условиях мирового экономического кризиса жизнь была несладкой, поэтому приглашение советского посольства стать главным художником-оформителем торговых выставок СССР в Париже подоспело вовремя. Работа была интересной и принесла достаток.

Достопримечательность Парижа — кабачки и кафе, где собирается художественная богема. Излюбленное парижскими художниками место — кафе «Le Dome». Публика тут разноразличная, сборная — художники, литераторы разных национальностей. Ведут бурные дискуссии, состязаются в остроумии. Кое-кто из писателей работает сидя за столиком. Здесь Рудольф Пиннис знакомится с Жоржем Сименоном. Их дружба длится и поныне. Писатель и художник постоянно переписываются.

Завсегдатай этого кафе — только что вернувшийся в Париж с полей гражданской войны в Испании Илья Эренбург. Он облюбовывает себе столик и, сидя за ним, пишет корреспонденции в Москву. Латышский ху-

К НАШИМ ИЛЛЮСТРАЦИЯМ



Рудольф Пиннис

дожник сводит знакомство и с Эренбургом.

В числе приятелей Пинниса — известные парижские художники Альбер Марке, Фернан Леже, Шаппен Миди. В кафе он знакомится со знаменитым оперным тенором Беньямино Джильи, дарит ему несколько графических листов.

Кульминацией своей парижской жизни сам художник считает участие в традиционной «Осенней выставке» 1938 года — у него, единственного из иностранцев, устроители принимают две работы. Поэт Андре Сальмон и художник, историк искусства и художественный критик Александр Бенуа очень высоко оценили произведения Рудольфа Пинниса. Одна из этих работ — «Площадь Согласия» — находится сейчас в Стокгольме, в частной коллекции, а судьба другой художнику неизвестна.

В 1939 году Рудольф Пиннис возвращается в Латвию. В Европе уже чувствуется приближающееся дыхание войны. Летом сорокового в Латвии восстанавливается Советская власть. Художнику поручается заведование отделом изобразительных

искусств Управления по делам искусств молодой республики. Он один из инициаторов основания Союза художников Латвийской ССР. Активная деятельность союза прерывается войной.

После войны Рудольф Пиннис энергично включается в художественную жизнь Латвии. Но следует незаслуженный удар судьбы — его, одного из основоположников Союза художников Латвийской ССР, исключают из союза в 1950 году. Только в 1954 году он возвращается в ряды творческого союза.

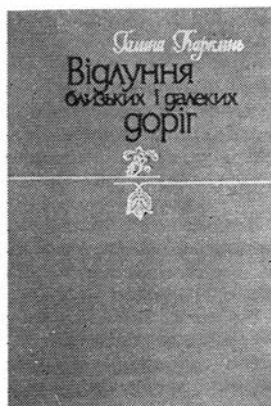
В 1959 году в Москве проходит персональная выставка художника. Его работы постоянно включаются в коллекции произведений латвийских мастеров, предназначенные для показа и в стране, и за рубежом.

В 1972 году Пиннису довелось вновь побывать в городе своей молодости — Париже. Полгода он пытался разыскать работы, оставленные им когда-то во Франции. Но люди, которым было доверено хранение этих произведений, давно умерли и никто о судьбе картин латвийского мастера ничего не знал.

В тот приезд Рудольф Янович познакомился с французским художником испанского происхождения Антони Клаве. Этот человек с оружием в руках защищал Испанскую республику. Потом с другими республиканцами был интернирован во Францию, с помощью французских друзей-художников выбрался из лагеря; сегодня это мировая знаменитость, один из ведущих мастеров изобразительного искусства. Рудольф Пиннис в чем-то считает его своим учителем. Их творческие концепции совпадают.

В 1985 году, будучи во Франции, Рудольф Пиннис снова повстречался со своим другом и единомышленником. Вернувшись домой, он с юношеским пылом продолжал работать. В сентябре нынешнего года в Париже должна состояться персональная выставка Рудольфа Пинниса.

Годы мастеру не помеха. Художник говорит: «Мне восемьдесят пять, но года считать незачем, в искусстве они не имеют значения. Искусство всегда начинается заново!»



ОТЗВУКИ СЕРДЕЦ

Перевернув последнюю страницу книги моего рижского друга Инги (Галины) Карклинь «Отзвуки близких и далеких дорог», хочу поблагодарить ее — как литературного следопыта на благородной ниве взаимообогащения наших культур.

В кратком вступительном слове автор говорит, что предлагает читателю «сборник мемуарно-публицистических очерков». Но это не просто сборник, в котором помещены независимые один от другого материалы. Обращает на себя внимание, что через всю книгу проходят, так сказать, «главные герои» из круга исследуемых автором: таким образом, творческие судьбы латышских художников и их украинских коллег — разных поколений и на разных этапах, начиная с дореволюционной эпохи и кончая сегодняшним днем, — закономерно переплетаются.

Очерки Инги Карклинь нетрадиционны. Пользуясь одновременно собственными записями бесед, перепиской, воспоминаниями о личных встречах и архивными материалами, она умеет увлекательно беллетризовать документальное повествование. Очерки часто строятся на диалогах двух-трех лиц, и хотя в этих диалогах «реализован» соответствующий фактаж, звучат они совершенно естественно.

Вдумчивым исследователем зарекомендовала себя Инга Карклинь уже в первом разделе «Родники», где мы встречаемся прежде всего с автором памятника Т. Г. Шевченко в Петербурге (1918 год) Янисом Робертом Тилбергом. Факт в истории известный, но кто знал о пути латышского скульптора, одного из основоположников национальной школы реалистической портретной живописи, до создания монументального бюста украинского Кобзаря?! В частности, о дружбе Тилберга с внуком Шевченко (по сестре) Фотием Красицким, тоже художником.

Современному читателю — как в Латвии, так и на Украине — мало известны страницы из

Галина Карклинь. Видлуння близьких і далеких доріг: Літературно-критичні нариси, есе (Отзвуки близких и далеких дорог: Литературно-критические зарисовки, эссе). — Киев: Радяньский письменник, 1987.

жизни латышского академика Роберта Пельше, который в 20-х годах заведовал отделом искусств Народного комиссариата просвещения Советской Украины. Роберт Андреевич внес весомый вклад в становление и развитие украинской революционной культуры. Харьковские газеты и журналы тех лет (Харьков был столицей республики) прямо-таки усеяны его именем. О Пельше и Украине рассказывается в отдельном очерке, написанном живо и проникновенно. Правда, мне, исследователю культурного процесса 20—30-х годов, хотелось бы видеть неординарную фигуру Пельше не только в связях с Ю. Смоличем и А. Довженко (как это сделано в книге), но и с многими другими советскими писателями, артистами, художниками Харькова. Неугомонный Роберт Андреевич шел рядом с Лесем Курбасом и Остапом Вишней, М. Кулишом и Олесем Досвитним, П. Тычиной и П. Панчем, В. Сосюрой и М. Бажаном... Понятно, что в книгу вошел далеко не весь богатый материал, которым располагает Инга Каркльинь (знаю из ее писем), это лишь, как она говорит, «скромная частица благодарности чудесной украинской земле, где я родилась, провела свое детство...».

Волнуют страницы и о взаимоотношениях Мирдзы Кемпе и Олеса Гончара, Ояра Вацетиса и Ивана Драча. Лирикой веет от заключительного раздела «Осень на житомирском Полесье». И не случайно, ибо в Житомире жил не только Иван Антонович Кочерга, близкий друг семьи Каркльинь, но и известный переводчик Гомера, человек многогранного таланта Борис Тен. Он в свое время перевел на украинский язык и книгу Инги Каркльинь «Художники Латвии».

Украинские читатели благодарны автору «Отзвуков...» за «визитные карточки» в творческие лаборатории многих мастеров литературы и искусства Латвии разных поколений — Кришьяниса Барона и Андрея Упита, Карлиса Миесниека и Лео Свемпа...

Триумфом единения наших культур стала декада латышского искусства на Украине в 1965 году. Я тогда жадно читал в переводе на украинский сочинения Ояра Вацетиса, Яна Судрабальна, Иманта Зиедониса, Лии Бридаки, Арии Элксне. Огромную радость приносили свежие номера журнала «Максла», приходившего по почте из Риги.

Тема культурных связей наших республик — благородная и неисчерпаемая. «Работаю над новой книгой, — пишет Инга Каркльинь в последнем письме ко мне. — Завершила повесть в двух частях «Портрет Марко Вовчок»... и «Потомки Марко Вовчок в Риге»... В течение полугода сдала издательствам две книги о латышских скульпторах. Сплю мало...»

В ответ остается пожелать Инге Николаевне доброго здоровья и творческого горения.

Анатолий ЖУРАВСКИЙ

ВСТРЕЧИ ФОЛЬКЛОРИСТОВ

как всегда, по традиции, состоялись 30 октября — в день рождения отца дайн Кришьяна Барона. Заседание, в котором участвовали фольклористы Академии наук Латвийской ССР и Центра им Э. Мелнгайлса, было посвящено народному романсу и зингам.

О бродячих сюжетах народных романсов, в центре внимания которых — жизнь и эмоции простого человека рассказала М. Лигере. М. Виксна проинформи-

ровала о пополнении фольклорных фондов. Музыковед Э. Скейбе обратилась к исследованию корней происхождения зингов — немецких песен, которые обрели новую жизнь в языке латышского народа. Интересным оказалось сравнение зингов и немецких народных песен, которое сделала В. Бендорфа.

На снимке: участники встречи почтили память Кришьяна Барона. Цветы на могилу отца дайн возлагает Сергей Залыгин.



НАГРАДЫ

За успехи в развитии латышской советской драматургии драматург заслуженный деятель культуры Латвийской ССР Паул Путиньш награжден Почетной грамотой Президиума Верховного Совета республики.

Почетное звание «Заслуженный деятель культуры Латвийской ССР» присвоено М. В. Розите, директору Кулдигской детской музыкальной школы имени Э. Вигнера — за большой вклад в эстетическое воспитание трудящихся.

«НАРОД, РЕВОЛЮЦИЯ, ЛИТЕРАТУРА» —

так формулировалась повестка дня объединенного пленума Союза писателей Латвийской ССР и партийного собрания писательской организации, посвященного 70-й годовщине Великого Октября. Заседание открыл председатель правления Союза писателей Я. Петерс. В докладах и выступлениях участники объединенного заседания поднимали вопросы дальнейшего развития темы патриотизма и героизма в творчестве писателей, широкого художественного отображения исторического процесса во всем его многообразии.

«СЛУШАЙ, ВЕЙДЕНБАУМ!» —

так назывался вечер, посвященный 120-й годовщине со дня рождения поэта, состоявшийся в Доме культуры профсоюзов. О том, как они понимают поэта, говорили студенты филологического факультета ЛПУ им. П. Стучки Янис Элсбергс и Эдуард Лининьш. Ливия Волкова в своем выступлении подчеркнула, что наследство Э. Вейденбаума еще недостаточно освоено. На встрече выступил поэт Кнут Скуениек, актеры Песнисского народного театра им. Э. Вейденбаума.



В СОЮЗЕ ПИСАТЕЛЕЙ ЛАТВИЙСКОЙ ССР

Состоялось заседание бюро объединения молодых литераторов при Союзе писателей Латвийской ССР. Бюро рассмотрело план работы объединения, решил организационные вопросы, а также обсудило Положение о присуждении премий молодым литераторам. В Положении, в частности, говорится: «Чтобы стимулировать творческий рост молодых писателей, привлечь широкое общественное внимание к их творчеству. Союз писателей

ЛССР учреждает ежегодную литературную премию имени Клава Элсберга». Премия будет присуждаться за напечатанную в течение года значительную работу молодого писателя, члена объединения молодых литераторов в поэзии, прозе, драматургии, литературной критике или в переводе. Бюро утвердило прием в объединение новых членов. Руководить работой объединения молодых литераторов будет отныне Андра Нейбурга.

НОВЫЙ СБОРНИК ИМАНТА АУЗИНЯ

В Москве, в издательстве «Художественная литература» (серия «Библиотека советской поэзии») на русском языке вышел сборник стихов Иманта Аузиня в переводах Виктора Андреева, Рояльда, Добровенского,

Александра Кушнера, Ларисы Романенко, Петра Вейна и Лидии Ждановой. Книгу открывает автобиографический рассказ «Немного о себе и о своей работе». Тираж — 9 000 экземпляров.

НЕДЕЛЯ ЯЗЫКА

Вот уже второй год проводится в республике Неделя языка, и, похоже, это хорошее мероприятие станет традиционным. Программа Недели включала в себя две научные конференции, а также встречи и беседы, рассчитанные на специальную аудиторию — студентов, учителей, журналистов, работников издательств, а также на «широкий круг интересующихся». Нет возможности перечислить даже лучшие из докладов и выступлений, их было много. Но один особенно запомнился участникам — доклад Р. Кнюншиса (Вильнюс), посвященный сравнению результатов работы по изучению практики языка на, проделанной латышскими и литовскими учеными.

Организаторы Недели много потрудились над тем, чтобы мероприятие прошло живо и с максимальной отдачей. Большой вклад в успех дела внесли языковеды группы терминологии и культуры языка АН Латвийской ССР В. Скуиня, И. Друвнiete, В. Шульц, Р. Квашите.

ДНИ ЛАТВИЙСКОЙ ССР В ЩЕЦИНЕ

Дни Латвийской ССР прошли в конце прошлого года в Щецинском воеводстве Польской Народной Республики. В нашу делегацию, которую возглавил Председатель Президиума Верховного Совета Латвийской ССР Я. Вагрис, входили певцы и музыканты Государственного академического театра оперы и балета, филармонии, Рижский хор мальчиков, ансамбли «Лиезма» и «Орнамент», работники искусств. В щецинском кинотеатре «Дельфин» был проведен фестиваль фильмов Рижской киностудии. В оперных спектаклях приняли участие солисты из Латвии. В городе была развернута художественная выставка.

КОНФЕРЕНЦИЯ ФИЛОЛОГОВ

В Латвийском государственном университете им. П. Стучки состоялась межвузовская конференция, посвященная актуальным вопросам современной науки о литературе. Участие видных представителей отечественной филологии — С. С. Аверинцева, М. Л. Гаспарова и других обеспечило высокий профессиональный уровень конференции. В ходе работы было заслушано несколько десятков докладов — на двух пленарных заседаниях, а также в сессиях теоретических проблем, русской дореволюционной литературы, советской литературы, литературных связей. В числе лучших — доклады А. Ф. Белоусова о детской теме у Досто-

евского. Н. М. Тюпы о поэтике притчи и анекдота, К. Т. Исупова о мифотворческих проблемах русского символизма, Р. Д. Тименчика о предметном мире поэзии начала XX века, В. А. Салогова об Игоре Северянина.

Нынешняя конференция — уже вторая по счету (первая проходила три года назад). Устроители конференции, и прежде всего профессора кафедры русской литературы ЛГУ Д. Д. Излев и Л. С. Сидянов, очень много сделали для подготовки и проведения этого важного научно-общественного мероприятия. Были высказаны пожелания, чтобы проведение таких конференций стало традиционным.

«ВЫСШИЙ СУД» — ПОБЕДИТЕЛЬ В НЬОНЕ

В Ньоне (Швейцария) ежегодно проходит международный кинофестиваль. В этом году он состоялся уже в 19-й раз, в нем приняло участие более 20 стран. Из социалистических стран представили свои ленты венгерские, польские, болгарские и советские кинематографисты. В отличие от других фестивалей, на которые фильмы выдвигаются их создателями, дирекция фестиваля в Ньоне сама производит предварительный отбор лучших кинолент и лишь после этого высылает приглашение на участие в соревновании. Таким образом обеспечивается очень высокий художественный уровень фестиваля.

Нынешним летом орга-

низаторы фестиваля приехали в Ригу, и наши ленты впервые получили приглашение участвовать в нем. Это — «Легко ли быть молодым?» Юриса Подниекса и «Высший суд» Герца Франка. Советский Союз, кроме того, представила и лента «Колокола Чернобыля».

Фильм Герца Франка «Высший суд» получил три приза: главный, который присуждает профессиональное жюри, высшую оценку религиозных организаций и приз зрительского жюри. Это был первый случай, когда совпали точны зрения всех категорий зрителей. Серебряную медаль получила лента «Колокола Чернобыля».

На снимке: советские участники фестиваля.



панорама



ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО

РУДОЛЬФ БЛАУМАНИС

Классика латышской литературы, писателя-реалиста Рудольфа Блауманиса (1863—1908), певца духовной и моральной красоты, человека труда, глубокого психолога и тонкого стилиста, чьи рассказы, новеллы, лирические стихотворения, драмы и комедии не однажды издавались и на русском языке, традиционно, но как-то односторонне сравнивают с А. П. Чеховым. Это сравнение выигрывает в полноте, если обратиться к другой стороне дарования Блауманиса, менее известной русскоязычному читателю, — к его журналистской работе в качестве юмориста и сатирика, писавшего под псевдонимами Землекоп и Полотер. Современники высоко ставили произведения малых форм и жанров, выходящие из-под пера виднейшего писателя и печатавшиеся в периодике, публика ими буквально зачитывалась. Думается, некоторые из этих сочинений на злобу дня не потеряли своей свежести и поныне.

Для публикации по случаю 125-летия со дня рождения писателя мы выбрали два сатирических фельетона в прозе. Первый из них, высмеивающий не столько тягу к виршенлетству, сколько поэтическое «перенасыщение» культуры, был напечатан в газете «Диенас лапа» (Ежедневный листок) и подписан шифром (это не единственный случай, когда Блауманис зашифровывал свое авторство). Второй фельетон появился на страницах литературного приложения к газете «Латвия» за подписью Пулиерс (Полотер) и представляет собой адаптацию к местным условиям частично переработанных юмористических сочинений немецкого писателя Пауля фон Шентана (Schönthan).

МОЖЕТ ЛИ ЛАТЫШ ИЗБЕГНУТЬ ПИСАНИЯ СТИХОВ И КАК ЭТОГО ДОБИТЬСЯ?

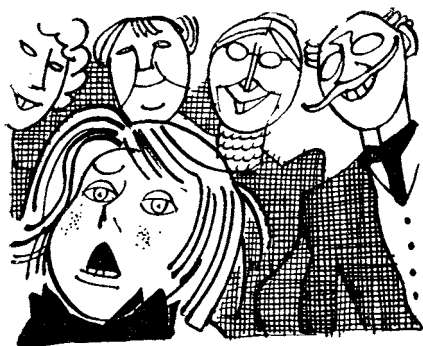
Не думайте, что я обратился к этому вопросу волей случая и что лучше бы нам поговорить, скажем, о балете. Он, по-моему, пока не достиг у нас такого развития, чтобы понадобилось изыскивать от него спасение, словно от моровой язвы, распространение которой следует немедленно ограничить. Народ, чья балетная труппа состоит всего из восьми фигурантов, восьми фигуранток и чужеземной солистки-танцовки, может еще лет двадцать пять преспокойно выделять свои па, прежде чем наступит пресыщение. Но разве в стихотворстве оно уже заметно? Ведь у нас непрестанно сетуют на нехватку поэтов!

Да, читающая публика, верно, по старой памяти только о том и вздыхает, но дело-то обстоит как раз наоборот. И на кухнях духовной пищи любой — от шеф-повара до последнего поваренка — может присягнуть, что кропающих ради печатания куда больше, чем тех, кто об этом не помышляет. Воздержавшихся ничтожно мало, отсюда ясно, что из всех искусств воздержание самое трудное и его адепты заслуживают прилежных учеников.

При более основательном рассмотрении предмета приходится признать, что у нас не сделаться стихотворцем и впрямь чрезвычайно тяжело. Современное образование, изрядное, слава богу, количество газет, махинации книгоиздателей, страстные к чтению и распеванию модных песенок — вот те обстоятельства, по которым добрых молодцев и девиц неудержимо тянет к писанию стихов. Лишь очень сильные натуры могут перебороть в себе это влечение. Считать, что от него охраняет отсутствие способностей — полнейшее заблуждение. Кабы так, многое осталось бы ненаписанным и не увидело света. Между тем роль таланта второстепенная. Не то чтобы он был попросту вреден, но полагать его всенепременным и обязательным условием — заведомая ложь и обман. Коли мы согласны в том, что природа, которая каким-то неведомым способом наделяет или отказывает человеку во всевозмож-

ных дарованиях, не почла необходимым снабдить нас в жизни противоядием от устремления к версификаторству, то, будем логичны, содействовать ущербу этой пагубы можно лишь искусственным путем. Я умышленно говорю «ущербу», а не «искоренению», так как убежден, что люди, одержимые жаждой виршеплетства, неизлечимы. Помощь может прийти со стороны одних воспитателей, которые, руководствуясь высокими принципами, могли бы достичь известных успехов. Есть, по-настоящему, немало таких, кого ничто не удержит от шелкоперства, коль уж они явились на свет божий. В земной юдоли барьеров и преград для них не существует. И меньше всего их останавливает собственное невежество. Так, Ульрих фон Лихтенштейн, немецкий поэт, не умел ни читать, ни писать и потому декламировал свои стихи слуге. Это доказывает, что благоразумные родители, полностью избавляющие своих детей от учения, чтобы те ненароком не прилепились к поэзии, напрасно стараются. Подчас именно благодаря просвещению человека озаряет, что он может и не быть поэтом, хотя это случается редко, так как мы еще готовы признать отсутствие дарования у ближнего, но у себя — никогда. Чем глубже вникаешь в вопрос: «Может ли латыш избежать писания стихов и как этого добиться?» — тем отчетливее видишь, что найти ответ едва ли возможно. Так откажется ли от попыток достичь благородной цели? Нет!

Тяга к стихотворству обычно проявляется с младых ногтей. Она прорезается иногда у дитяти, едва достигшего трех-четырёхлетнего возраста. Писать эти вундеркинды безусловно еще не умеют и рифмуют устно. При первом же обнаружении подобных симптомов надо спасать ребенка, пока не поздно. Увы, как правило, в таких случаях ничего не предпринимается. Родители, дядья и тетушки в неопишемом восторге поощряют это занятие разного рода подарками, лстя себя надеждой, напрасной конечно же, что со временем их чадо оставит дурную при-



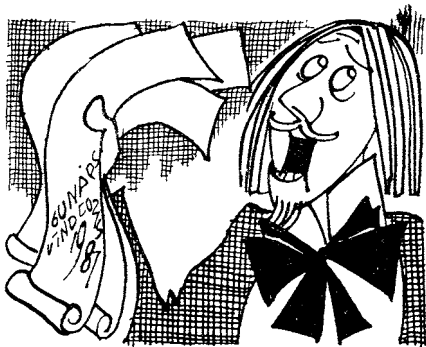
вычку. В школе понуждают заучивать стишки и писать сочинения, зато в свободное время детям дозволяется кое-что читать. Вот тут-то частенько и объявляются писатели и писательницы — чтение романов доводит их до бумагомарания.

Итак, вот вам мое мнение — запретить молодым людям читать художественные произведения. Мало того. Главная рекомендация состоит в том, чтобы отпугивать детей от писания стихов, и как можно раньше. Например, при помощи страшных сказок, где поэт предстает в виде призрака или другой нежити, либо язвительными насмешками над парнасским племенем. Состоятельные семейства, принадлежащие к сливкам общества, могут нанять в устрашение своим отпрыскам какого-нибудь хилого и грязного оборванца, который бы изображал время от времени поэта. Ежели ребенок проказлив и строптив, недурно пригрозить ему букой — мол, погоди, вот не будешь слушаться, придет поэт и унесет тебя в дремучие леса.

Кроме того, полезно прививать детям сугубое уважение к деньгам, разясняя, что поэты все до единого, а латышские особливо, имеют обыкновение умирать голодной смертью. Избави вас бог упомянуть о пяти миллионах франков, оставшихся после Виктора Гюго, а тем паче про писательский фонд Комиссии по наукам. Может статься, кое-что о фонде уже попало на малышу на глаза, тогда надлежит уверить его, что на эти деньги будут издаваться ученые труды. На детский вопрос, что же в таком случае останется на долю ко-

миссии, ответствуйте — открытие филиалов.

Впечатления, полученные человеком в юные годы, большей частью не забываются. Буде воспитатели поступят означенным выше образом, вредное влияние стихотворства, может быть, ослабнет. Правда, серьезнейшим к тому препятствием является общедоступность и легкость занятий поэтическим творчеством. В самом деле, что для этого надобно? Бумага, чернила, перо или грифель. Издержки мизерные, а предаваться сочинительству можно где душе угодно. Хотя и говорят, что любителей игры на фортепиано тьма-тьмущая, но поэтов все же больше. Ибо для фортепианной игры и выдающегося музыканту необходим рояль — поэт же носит свой инструмент в кармане. Другие роды искусства недоступны без более или менее серьезных штудий. Самый жалкий мазила обязан научиться владеть кистью. И напротив — любой ученик волостной школы писанию обучен, а матерьял, то бишь слова, вполне может черпать из обыденных речей.



Поэту также проще, нежели другим художникам, донести свои сочинения до ценителя. Органист не в состоянии обременить меня, если у него нет под рукой органа. Не то поэт, способный извлечь из дюжины кармашков триста семьдесят исписанных листков и подряд их зачитывать или, того хуже, обрушить на голову намеченной жертвы все свои писания, которые он, разумеется, знает наизусть. С учетом этого целесообразно иметь в редакциях комнаты с несколькими запасными выходами, желательно в первом этаже,

чтобы можно было, когда при-спичит, вылезти в окно. Прятаться и затруднять вход в помещение мало толку. В редакцию газеты «Диенас лапа» теперь можно проникнуть лишь по одной-единственной лестнице, миновав по пути две комнаты, темный коридор и четыре двери. И кто ска-зал, что это помогает?

К тому же поэту ознакомить со своими произведениями широкую публику намного легче, чемслужи-телям других муз. Между нашими газетами ныне царит столь оживлен-ная конкуренция, что даже распос-ледние опивки пользуются спросом. И посему Аузеспиедурс, Теодорс Раговскис и иже с ними без устали сцеживают и торгуют в розлив эти-

ми помоями. Что претит христиан-скому вкусу, тому не отказывает в благоволении жид, и в конечном счете у нас буквально каждому по-эту удастся увидеть свое имя напе-чатанным. А раз так, то нечего удивляться, что полку поэтов при-бывает день ото дня. Для блага изящной словесности и ее привер-женцев не худо бы стихотворство по возможности затруднить. Но я такого средства не знаю. И коснулся этого вопроса мельком. Пусть уж достойнейшие мужи рассудят в поч-тенном собрании этот животрепещу-щий вопрос: «Может ли латыш из-бегнуть писания стихов и как этого добиться?»

1899

КРАТКОЕ НАСТАВЛЕНИЕ В ЛЮБВИ

ВМЕСТО ВСТУПЛЕНИЯ

Поскольку наши юноши и девуш-ки благодаря книгам Ракера, Макара и Стакера «Человек и его пол», «В супружеской постели» и «Что следу-ет знать новобрачным» более-менее сносно подготовлены к супружеской жизни, необходимо без промедле-ния обозначить стезю, следуя кото-рой молодежь бесспорно проник-нет в кущи любви. Приведу несколько лаконичных советов, почерпнутых как из собственного опыта, так и приключений одного моего колле-ги — Пауля фон Шёнтана. К сему замечу, что вскоре увидит свет пухлое руководство в двух то-мах, где в алфавитном порядке бу-дет изложено все, что с древнейших времен известно о любви.

Растолковывать, что такое любовь, видимо, излишне. Большинство зна-ет, что она такое. Любовь стара как мир и в Европу, вероятно, занесена финикиянами. Это понятие много-гранное — например: материнская любовь, любовь к отечеству, себя-любие и т. д., но мы будем гово-рить лишь о той любви, что воспета, в меру своего таланта, Лапас Мар-тиньшем, Гейне и другими поэтами.

В отношении возраста, в коем можно предаваться любви, вывести общее правило затруднительно. По-ступать следует сообразуясь с обсто-ятельствами, наличием времени и ве-лением сердца, коли таковое будет

в себе обнаружено. Мужчины занима-ются любовью между 20 и 60 года-ми, женщины с 16 до 40 лет, а не-которые и того дольше. Но житей-ский опыт вразумляет нас, что позд-ние занятия любовью редко приво-дят к успеху.

ПРИГОТОВЛЕНИЯ К ЛЮБВИ

Если, любезный читатель, ты все-речь решил влюбитья, не пори горячку и хорошенько обдумай по-следствия этого шага. Только к тем, кого не пугает брак и кто может без внутреннего содрогания читать и слышать слово «женитьба», обра-щены эти немудреные советы. Аван-тюристы и дилетанты пусть во всем полагаются на себя.

Коль скоро мысль о женитьбе окончательно созрела, первым де-лом надо выбрать достойный пред-мет, точнее, особу. Господа (муж-чины) отыскивают для сего дам (женщин), и наоборот.

Новичков предупредим сразу — не целяйтесь упорно за пригля-нувшиеся вам черты внешности. Ма-ло ли охотников до светлых волос и голубых глаз именно через голубо-глазых блондинок сделались глубоко несчастными, в то время как в каре-глазой брюнетке смогли обрести свой заветный идеал. Доброе сердце и работающие руки куда важнее внеш-него облика. Но вызвать эти пре-красные свойства на театре, гулянке

и званом вечере никак невозможно, вот отчего надо поскорее стать у возлюбленной другом дома. В городе тут могут возникнуть препятствия, обычно они устранимы подкупом домочадцев, прислуги и т. д. — деньги нельзя совать лишь родителям. На деревне и препятствий преодолевать не придется. К избраннице, живущей по соседству, наведываются по воскресеньям за газетами либо табачком, а если она из другой волости, к ней едут «лошадь продавать». (Зимой ради этого случая надают самую лучшую шубу, если нет своей — одалживают.)

ПЕРВОЕ СБЛИЖЕНИЕ

В городе, где люди обыкновенно незнакомы друг с другом, сближение дело трудное, требующее от мужчины большой хитрости и смекалки. Не все молодые девушки обучены надлежащему общению с мужчинами и умеют облегчить им первый шаг. Многие, будто в гордыне, сторонятся любезных взглядов мужского пола, особенно это за дамами до тридцати замечается. Потом сия причуда проходит. Наилучший шанс для сближения открывается на прогулке. Тут предмету любви дают понять, хотя бы и на почтительном расстоянии, какой глубокий след оставлен им в душе. Обожатель должен вести преследование без усталости, но ненавязчиво. Каждый мужчина поймет, как далеко он может зайти в своих исканиях. Не рекомендуется чересчур усердно кашлять, прочищать горло или испускать громкие вздохи, при таком поведении легко стать посмешищем, а этого надо остерегаться.

Девичам заметим, что не резон преувеличенно сдержанностью пробуждать мнение, будто они неприступны как крепость. Робкие и немелые бывают этим до того напуганы, что улетывают навсегда. Каждой девице рекомендуется перепетировать перед зеркалом, как незаметно озираться по сторонам, чтобы не упустить из поля зрения того, кто идет сзади. Полезно задержаться перед витриной и сделать вид, что изучаешь выставленные там предметы. Тут и возможна нечаянная встреча. В саду или аллее можно случайно обронить перчатку или



другой предмет. Мужчина с честными намерениями поднимет его и вернет владелице. А если он сколько-нибудь обладает даром речи, то отыщутся и слова, которые проложат тропку к девичьему сердцу.

Девица должна казаться донельзя изумленной. От манеры, в какой она соблаговолит изъять свою благодарность, сплошь и рядом зависит, будет ли поощрен «нашедший». Мужчина не мешкая представляется и протягивает визитную карточку; разумеется, не исписанную и без всяких там холостяцких шуток, допускающих двусмысленное прочтение. В том случае, если адрес дамы сердца неизвестен, ее провожают до дому, запоминая, за которой дверью она скрылась.

На селе хозяйские сыновья и батраки для первого сближения с девкой предпочитают танцы на ярмарке и разного рода утех. Подходящим местом является и храм божий. Под органные звуки отпевания милок протискивается в толпе прихожан к милой и будто невзначай ее пихает. Зардевшись (если сможет), он говорит: «Простите, пожалуйста, — народ тут бессовестный», — и учтивое начало беседе положено. Учителям рекомендуется основывать певческие хоры кружки, залучая в них предмет своих воздыханий. Ставя спектакль, учитель или волостной писарь подвизается в амплу первого любовника, а своей желанной вручает роль партнерши. Весьма подходящая для таких случаев пьеса — «Злой дух»*, благо там в первом действии

* Автор имеет в виду драму собственного сочинения. — Прим. пер.

можно до упаду лапать друг дружку и лобызаться. На репетициях эти места прогоняют по нескольку раз.

Среди батраков и батрачек, живущих вместе и приглянувшихся друг другу, в обычае шумно ссориться на людях. Он обзывает ее «козой в сарафане», а в Курляндии «пигалицей», она то честит его «косолапым увальнем», то грозит «бонбу» ему подбросить. А украдкой чинит его рубахи и каждый вечер стелет ему постель. Он в свой черед пособляет ей на сенокосе и по воскресным дням приносит гостинцу — полфунта конфект.

СВИДАНИЕ

Миновав приготовления, подходим к самому свиданию. Штука эта настолько тонкая, что почти непременно именуется французским словечком «rendez-vous» (произносить в нос: ранде-ву). Первейшая заповедь такова: встречаться надлежит тайком от родителей. В городах для этого подходят малопосещаемые музеи, а также парки и железнодорожные вокзалы. Последние в особенности, ведь когда у парочки ненароком дойдет до поцелуев, то на перроне никто не усмотрит в этом ничего необычного.

Загородное свидание может состояться на том же месте, где и первая встреча. В церкви поцелуев надо остерегаться. Очень хороши беседки неподалеку от дома, про них сочинителями столько всякого понаписано, что молодым людям грезится, будто беседки эти утопают в чарующей атмосфере любви.

На хуторе обычное место свиданий парней с девками — клеть, в которой девки спят летом. Парень сообщает девке, что ему холодно спать в одиночку. Если она в ответ лупит его по шее граблями или тычет навозными вилами в бок, это верный знак того, что вечером дверь в клетушку не будет заперта. По всей видимости, там неизбежно целованье.

Избирать местом свидания свинарники не следует ни под каким видом. Лучше уж коровник, но надо принести чистую подстилку.

ПОЦЕЛУЙ

Вот мы и добрались до уязвимого места. Изысканно выражаясь, лобзанию, иначе — поцелуям, а по-деревенски попросту чмоканию, не научишь, здесь упражнение — всё, изучение — ничто. Но немного выдержки и терпения со стороны девицы позволит и новичку быстро обрести необходимую сноровку.



Если мужчина чувствует, что поцелуй — остановимся на этом термине — не будет отвергнут, он нежно обвивает десницей стан своей избранницы, стискивает ей руки и уверенным движением приближает голову к устам. Крепко при том зажмурившись. Девицам это лстит. Продолжительность поцелуя зависит от обстоятельств. Он наверняка длиннее, когда поблизости нет «стариков».

Городской поцелуй должен быть беззвучным.

Девица, награжденная поцелуем, отступает на шаг, восклицая: «Карл, мой господин, что делаете!» Само собой разумеется, надо назвать другое имя, если целователя зовут не Карлом, а как-нибудь иначе. Тут мужчина опять стискивает ей руки и шепчет: «Ты моя единственная!»

Девица отвечает с укором: «Какой же вы нехороший!»

И вот теперь ей самое время уйти. Мужчина же, напротив, постарается ее удержать, умоляя вновь и вновь: «Еще только раз приложиться (тут следует говорить «приложиться», а не «поцеловать») к твоим сладким устам!»

И по большей части это ему дозволяется, девица остается стоять на

месте и лишь время от времени правляет шляпку. Лобзая жаркое и непродолжительное. (На счет раз, а не раз-два-три!) Покидая беседку, к девице снова обращаются на «вы».

На деревне приняты крепкие и звонкие поцелуи.

Чмокнувшая девка восклицает: «Ах ты, прохвост!» — и делает такое движение, словно хочет утереться. Парень при этом хватается за руки и со словами: «Не так уж и страшно», — чмокает во второй раз. На что она вскрикивает: «Фу, леший!» — а он повторяет свой ответ.

При первом свидании и поцелуях парни и девки, даже если они на «ты», должны друг другу «выкаты» и не употреблять диалектизмов и просторечий, но изъясняться книжному. «Мине», «табе», «яму», «чо» и тому подобные слова в эти мгновения непристойны. Покинув беседку, клетушку и т. п., можно снова заговорить по-обыкновенному.

В городе в качестве чисто вспомогательного средства используется целованье рук. Руку, затянутую в перчатку, лобзуют лишь в крайней надобности. С тыльной стороны, возле кнопочек, всегда отыщется открытое местечко, к которому можно прильнуть губами в случае непреодолимой нужды.

На селе целованье рук не в ходу. Оно особенно не с руки, когда из хлева вывозят навоз.

ЩЕБЕТАНЬЕ

Мы подошли к труднейшему разделу. Ведь насчет этой части беседы между любовниками никаких жестких предписаний дать нельзя.

В любом случае следует избегать политических тем. Равным образом не годятся для воркования и религиозные вопросы. В то же время изъясняться надлежит в высшей степени поэтическим слогом. Многократно подтверждалось, что любовные стишки, ловко вставленные в разговор, приводят к успеху. Но надо твердо усвоить, на какой случай у какого поэта заимствовать. Девки, склонные к декадансу, приманивают Эглитом, Фаллием и Екабсоном; тех, кто ходит в красной блузе или носит красные ленты, ублажают Аспазией и Райнисом. Цитировать тут Ниедру или Лудиса Берзиня означа-

ет потерять все. Для деревенских парней и девок сойдут народные песни из сборников Барона — Виссендорфа.

Неизменно благоприятное впечатление оставляют на девиц сравнения из растительного мира. Вот, например, хорошее начало: «Барышня, вы просто бутончик!»

Обращаясь к вдове или перестарке надо пользоваться названиями распустившихся цветов.

В общем и целом, говорить рекомендуется исключительно о своих чувствах. Скажите, что неотступно думаете о ней одной и ночами то и дело видите ее во сне. Дозволительная и вполне невинная маленькая ложь. Девцам, напротив, молодые господа никогда не снятся.

Если среди милого щебетания вдруг воцаряется пауза и мужчине ничего путного на ум не приходит, пусть прижмет к груди руки возлюбленной и твердит одно: «Ты моя единственная! Ты моя единственная!» Деревенский парень может



Рисунки Гунара Виндедзиса

предложить девке побороться с ним, дразнить при этом: «А вот не можешь мне ничего поделывать! А вот не можешь!» Разводить тары-бары надо шепотом, даже если поблизости и нет никого. Девка скромничает и беспрестанно отсылает поклонника восвояси, но так, что тот и не думает сдвинуться с места.

Почтенный обычай старины падать перед возлюбленной на колени сегодня сохранился лишь в дурных пьесах, представляемых на сцене. Кому невтерпеж воскресить эту старинную манеру, пусть себе кидается на землю, но смысла в том нет.

Придется подтягивать узкие брюки, чтобы не выпирали колени, а если брюки к тому же светлые, то в траве они пойдут зелеными пятнами.

НАМЕКИ БУДУЩЕЙ НЕВЕСТЕ

Всякая девица очень скоро разбегается в намерениях своего дыхателя и прямым движением к цели. Между прочим, горожанка не преминет заметить, что она сама делает свои шляпки, сама охотно готовится кушанья и что ей больше по душе домашний уют, чем посещение вечеров. Если поклонника принимают в доме, девице необходимо взять на время швейную машинку и сообщить ему, что все платья шиты ею собственноручно. И не показываться без рукоделия: наполовину готовые образцы продаются во всех лавках. Визиты жениха не должны затягиваться, чтобы не успел надоесть до свадьбы.

Деревенские девки, очутившись в таком положении, проветривают по воскресеньям приданое — пусть парень видит, сколько штук сукна и одеял у суженой. Коли пуст сундук, в него тайком подкладывают обернутые паклей бульжники, девка же притворяется донельзя скупой. Придет время, и парень узнает тяжесть приданого... Девкам в этом возрасте неприлично ходить в дырявых чулках.

Чем ближе решительный миг, тем меньше воли дозволяется избранни-

ку. Ловкие невесты под конец почти что не остаются с женихами наедине. Лишь в момент расставания ее родители и сестры исчезают из виду, и суровая невеста смеет чуть-чуть оттаять.

После прощального поцелуя обрученная обычно восклицает: «Когда ты снова приедешь, Карлуша?» или «Кабы ты знал, как я тоскую по тебе, Карлуша!».

Как уже говорилось выше, если жениха зовут иначе, то употребляют правильное имя, ни в коем случае не допуская обмолвки.

Мужчины с большим или меньшим опытом любовных похждений гораздо чаще рискуют попасть в беду, поэтому советуем не запоминать имя девицы, а постоянно величать ее «душенькой». Это слово для всех пригодно и избавляет от неприятностей.

Бывает, невеста, попросившись с женихом, еще хочет чего-то; что ж, пусть встанет у окна и машет вслед суженому чистым носовым платком. На селе девка в таких случаях обычно догоняет парня и запикивает ему в карман пиджака добрый кругляш сыру.

Вот мы и подвели счастливую парочку от пробуждения первого чувства почти к самому алтарю. А там начинается супружество, и в любви наставлять больше не к чему.

1907

Перевел Леон ГВИН

На первой странице обложки: Художник Рудольф Пиннис в своей мастерской.

На четвертой странице обложки: Рудольф Пиннис. Вещи и люди.

Фото Роланда Фогта

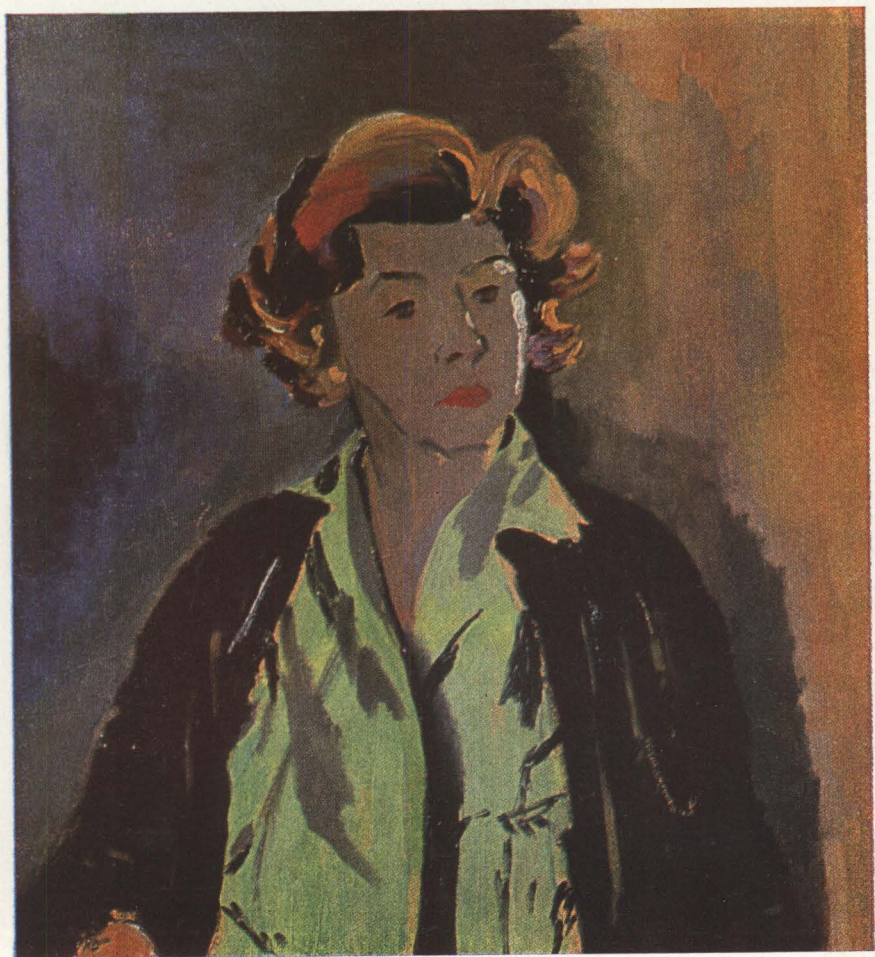
Авторы снимков в тексте: Лаймонис Блодниец, Улдис Бриедис, Виктор Гулак, Айвар Лиепиньш, Надежда Медведева, Марк Рабкин, Роланд Фогт.

Сдано в набор 13.11.87.
Подписано к печати 18.12.87. ЯТ 00153.
Формат 60×90/16. Типогр. бумага № 1,
мелованная бумага. Высокая печать.
8,0+0,25+0,25 усл. печ. л., 9,86 ус. кр. отт.,
10,25 уч.-изд. л. Тираж 35 000.
Заказ № 1561. Цена 45 коп.
Адрес редакции: 226081, Рига, ГСП,
Баласта дамбис, 3.
Телефоны: гл. редактор 466049,
зам. гл. редактора 465913,
отв. секретарь 465996,
отд. прозы 465992,
отд. поэзии 465998,
отд. критики и публицистики 465990,
техн. секретарь 465993.
Отпечатано в тип. Издательства ЦК КП Латвии,
226081, Рига. Баласта дамбис, 3.

Технический редактор
Мудите АРАЯ.

Корректор
Любовь СОКОЛОВСКАЯ.

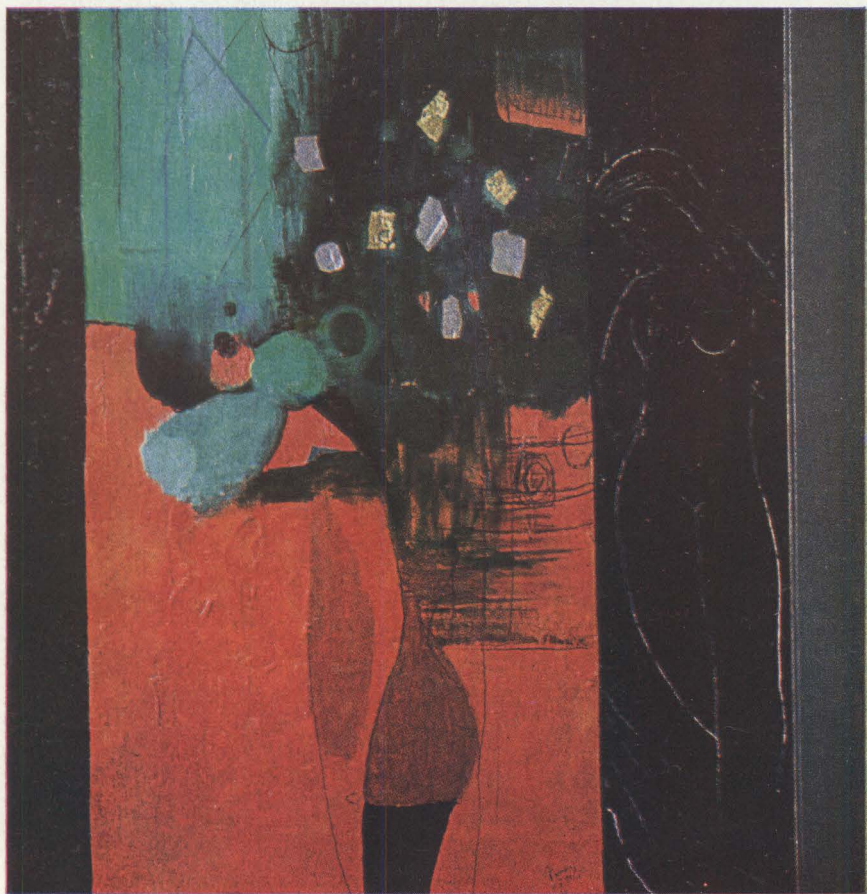




Портрет
Эльвиры



Цветы —
тебе



Дружба
и любовь.
Фото
Роланда Фогта

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

Рукописи принимаются редакцией в машинописи, в первом экземпляре. Текст печатается только через черную ленту, через два интервала на белой бумаге формата 210×297 мм.

На одной странице рукописи должно быть не более 30 строк, в каждой строке — не более 60 знаков (вместе с междусловными интервалами).

Поля страниц не менее: левое — 25 мм, верхнее — 20 мм, правое — 10 мм, нижнее — 25 мм.

Заголовки и подзаголовки отделяются от основного текста сверху и снизу тремя интервалами и печатаются строчными буквами. Размер абзацев в тексте рукописи равен пяти ударам пишущей машинки.

Рукописи объемом более 10 машинописных страниц представляются в двух экземплярах. Непринятые рукописи не возвращаются и не рецензируются.

РЕДАКЦИЯ

